

ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ
БУНИН

РАССКАЗЫ



КЛАССИКА РУССКОЙ
ДУХОВНОЙ ПРОЗЫ

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ

Иван Алексеевич Бунин
Рассказы
Серия «Классика русской духовной прозы»

Текст книги предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=11325587
Рассказы: Нукея; Москва; 2014
ISBN 978-5-91761-352-9

Аннотация

И. А. Бунин – известнейший писатель, первый русский лауреат Нобелевской премии. Его жизненный путь был наполнен странствиями и болью разлуки с родиной. Несмотря на это, в эмиграции он создал свои лучшие произведения, основные темы которых – духовная жизнь и смерть человека, истинная любовь и глубокая русская душа с ее светлыми и темными сторонами, подвигами и страстями. В сборник вошли рассказы разных лет, начиная с раннего доэмигрантского периода творчества Бунина, и заканчивая произведениями из сборника «Темные аллеи», которые писатель относил к лучшим своим творениям.

Содержание

Предисловие	4
Из сборника рассказов «Тень птицы»	5
Святые горы	5
I	5
II	7
III	7
Иудея	9
I	9
II	10
III	12
Пустыня дьявола	15
I	15
II	16
III	17
IV	18
Страна содомская	21
Геннисарет	24
Рассказы разных лет	27
На чужой стороне	27
Эпитафия	31
У истока дней	34
I	34
II	35
III	35
IV	36
V	37
VI	38
VII	38
VIII	39
Птицы небесные	41
Ночной разговор	45
I	45
II	47
Конец ознакомительного фрагмента.	49

Иван Алексеевич Бунин

Рассказы

Предисловие

Последний дворянин русской литературы

Иван Алексеевич Бунин родился в Воронеже 23 октября 1870 года. Его семья принадлежала к знатному, но обнищавшему помещичьему роду. В девятнадцать лет дворянин Иван Бунин вынужден был устроиться корректором в редакцию газеты «Орловский вестник».

В 1895 году Бунин уехал в Петербург, где постепенно вошел в писательскую среду, познакомился с Бальмонтом, Брюсовым, Короленко, Куприным, и наконец – с Чеховым, книгу о котором Бунин будет писать в конце своей жизни.

Первые рассказы нашего сборника относятся к циклу «Тень птицы» (1907–1911 гг.), написанному после путешествия Бунина в страны Востока – Египет, Сирию и Палестину. Писатель посещает святые места Иудеи, Генисарета, с восторгом открывает эти новые для себя и такие древние земли. Сам он называл рассказы из этого сборника поэмами в прозе.

Первым крупным изданным произведением Бунина стала повесть «Деревня», за ней последовали другие произведения. Постепенно писатель пришел к собственной, лаконичной и насыщенной смыслами, форме рассказа.

Революцию Бунин воспринял как катастрофу. 21 мая 1918 года он с женой Верой Николаевной уехал из Москвы – сначала в Одессу, а через два года в Константинополь, чтобы потом перебраться в Париж. Годы эмиграции были для него мучительны, тем не менее, живя за границей, Бунин создал новые прекрасные произведения, полные лирической пронзительности: роман «Жизнь Арсеньева» и сборник рассказов «Темные аллеи». Сам писатель считал их вершиной своего творчества. В 1933 году Ивану Бунину была присуждена Нобелевская премия, по его мнению, именно за «Жизнь Арсеньева».

Годы Второй мировой войны Бунин прожил на вилле «Жаннет» в Грассе. Во время оккупации он отказывался публиковаться, хотя жил в большой нищете. В дневниках и письмах послевоенных лет писатель признается, что желал бы вернуться на родину, но никто не сможет дать ему гарантий спокойного существования в советской России. В результате на возвращение он не решился.

Умер Иван Бунин в 1953 году. Похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем.

Оксана Шевченко

Из сборника рассказов «Тень птицы»

Святые горы

I

Путь к Донцу, к древнему монастырю на Святых Горах, пролегает на юго-восток, на Азовские степи.

Ранним утром Великой Субботы я был уже под Славянском. Но до Святых Гор оставалось еще верст двадцать, и нужно было идти поспешно. Этот день мне хотелось провести в обители.

Преодо мной серело пустынное поле. Один сторожевой курган стоял вдалеке и, казалось, зорко глядел на равнины. С утра в степи было по-весеннему холодно и ветрено; ветер просушивал колеи грязной дороги и шуршал прошлогодним бурьяном. Но за мной, на западе, картинно рисовалась на горизонте гряда меловых гор. Темнея пятнами лесов, как старинное, тусклое серебро чернью, она тонула в утреннем тумане. Ветер дул мне навстречу, охлаждал лицо, рукава, степь увлекала, завладевала душой, наполняла ее чувством радости, свежести.

За курганом блеснула круглая ложбина, налитая весенней водой. Я свернул к ней на отдых. Есть что-то чистое и веселое в этих полевых апрельских болотцах; над ними выются звонкоголосые чибисы, серенькие трясогузки щеголевато и легко перебегают по их бережкам и оставляют на иле свои тонкие, звездообразные следы, а в мелкой, прозрачной воде их отражается ясная лазурь и белые облака весеннего неба. Курган был дикий, еще ни разу не тронутый плугом. Он расплывался на два холма и, словно поблекшей скатертью из мутно-зеленого бархата, был покрыт прошлогодней травой. Седой ковыль тихо покачивался на его склонах – жалкие остатки ковыля. «Время его, – подумал я, – навсегда проходит; в вековом забвении он только смутно вспоминает теперь далекое былое, прежние степи и прежних людей, души которых были роднее и ближе ему, лучше нас умели понимать его шепот, полный от века задумчивости пустыни, так много говорящей без слов о ничтожестве земного существования».

Отдыхая, я долго лежал на кургане. С полей уже тянуло теплом. Облака светлели, таяли. Жаворонки, невидимые в воздухе, напоенном парами и светом, заливались над степью безотчетно-радостными трелями. Ветер стал ласковый, мягкий. Солнце согревало меня, и я закрывал глаза, чувствуя себя бесконечно счастливым. В южных степях каждый курган кажется молчаливым памятником какой-нибудь поэтической были. А побывать на Донце, на Малом Танаисе, воспетом «Словом», – это была моя давнишняя мечта. Донец видел Игоря, – может быть, видел Игоря и Святогорский монастырь. Сколько раз разрушался он до основания и пустели его разбитые стены! Сколько претерпел он, стоя на татарских путях, в диких степных равнинах, когда иноки его были еще воинами, когда они переживали долгие осады от полчищ диких орд и воровских людей!

Скрип телеги, на которой сидел старик, свесив с грядки ноги в допотопных сапогах, и сопение волов, которые, покачиваясь и вытягивая шеи, придавленные тяжелым ярмом, медленно тащились по дороге, разогнали мои думы. Я зашагал еще поспешнее.

Полоса леса серовато чернела вдали. Я не сводил с нее глаз, думая, что за лесом-то и откроется долина Донца и Горы. Лес оказался очень старым, заглохшим. Меня поразила его безжизненная тишина, его корявые, иссохшие дебри. Замедляя шаги, я с трудом пробирался

по хворосту и бурелому, который гнил в грязи глубоких рытвин дороги. Ни одной птицы не слышно было в чащах. Иногда дорогу затопляло целое болото весенней воды. Сухие деревья сквозили кругом; их кривые сучья бросали слабые, бледные тени.

Скоро, однако, в полете лесной дороги снова проглянула просторная, вольная даль. Сухой степной ветер все усиливался, разгоняя в ярком весеннем небе белые облака, делая даль бесконечной. Монастыря же все не было.

Хохол, к которому я подходил с расспросами о дороге, рослый мужик с маленькой головой, одетый в короткую, словно из осинового коры сшитую, свитку, не спеша шел за плугом. Плуг тащили четыре вола, а волов вела девочка.

– Тату! – сказала она мужику, обращая его внимание на меня.

Он остановился.

– Эта дорога на Святые Горы? – спросил я.

– А куды вам треба?

– В монастырь.

– Якій монастырь?

– Да вы разве никогда не были на Святых Горах?

– В якономії?

– Да не в экономии, а в самом монастыре, в церкви.

– У церкви? Та у нас своя церква на селі.

– А в монастыре?

– Та був, ще хлопцем. Тоді чума на скот була, так казали, що там пробував такий монах, що знав замовляти. От і ходили усі, у кого скотина боліла; звісно, молебствіє служили і в село привозили того інока. Ну, походив він по дворах, покропив водою, а про те нічого не допомоглось.

– Так это дорога туда?

– Эге ж...

И хохол, даже не взглянув на меня, снова спокойно пошел за плугом.

Я уже чувствовал усталость. Ноги ныли в пыльных, горячих сапогах. И я принялся считать шаги, и занятие это так увлекло меня, что я очнулся только тогда, когда дорога круто завернула влево и вдруг ослепила резкой белизной мела. Вдалеке, налево, на самом горизонте, над чащей леса, сверкал золотой купол церкви. Но я едва взглянул туда. Передо мной, в огромной, глубокой долине, открылся Донец.

Долго простоял я неподвижно, глядя на мутную синеву этих привольных лугов. Все они были затоплены водой, – Донец был в разливе. Стальные полосы реки сверкали в чащах коричневых камышей и залитых половодьем прибрежных лесов, а к югу разливались еще шире, совсем уже смутные у подножья далеких меловых гор. И горы эти белели так смутно-смутно... Потом я обгонял идущий на богомолье народ – женщин, подростков, дряхлых калек с выцветшими от времени и степных ветров глазами, и все думал о старине, о той чудной власти, которая дана прошлому... Откуда она и что она значит?

Между тем монастырь все еще не показывался. Небо потускнело, ветер начал пылить по дороге, и в степи стало скучно. Донец скрылся за холмами. Я попросил проезжего хлопца подвезти меня, и он посадил меня в свою тележку на двух колесах. Мы разговорились, и я не заметил, как мы въехали в лес и стали спускаться под гору.

Все круче, отвеснее становилась горная дорога, каменистая, узкая, живописная. Мы спускались все ниже и ниже, а столетние красноватые стволы мачтовых сосен, гордо выделяясь среди разнообразной лесной заросли, мощно вцепившись корнями в каменистые берега дороги, плавно подымались все выше и выше, возносились зелеными кронами к голубому небу. Небо над нами казалось еще глубже и невиннее, и чистая, как это небо, радость наполняла душу. А внизу, сквозь зеленую чащу леса, между соснами, вдруг проглянула глубо-

кая и, как показалось, тесная долина, золотистые кресты, купола и белые стены домов у подошвы лесистой горы – все скученное, картинно сокращенное отдалением, – и светлая полоса узкого Донца, и густая синева воздуха над сплошными луговыми лесами за ним...

II

Донец под Святыми Горами быстр и узок. Правый берег его возвышается почти отвесной стеной и тоже щетинится лесной чащей. Под ним-то и стоит белокаменная обитель с величавым, грубо раскрашенным собором посреди двора. Выше, на полугоре, белея в зелени леса, висят два меловых конуса, два серых утеса, за которыми ютится старинная церковка. А еще выше, уже на самом перевале, рисуется в небе другая.

С юга надвигалась туча, но весенний вечер был еще ясен и тепел. Солнце медленно уходило за горы; широкая тень стлалась по Донцу от них. По каменному двору обители, мимо собора, я пошел к крытым галереям, что ведут в гору. В этот час пусто было в их бесконечных переходах. И чем выше подымался я, тем все более веяло на меня суровой монастырской жизнью – от этих картинок, изображающих скиты и кельи отшельников с гробами вместо ночных лож, от этих печатных поучений, развешанных на стенах, даже от каждой стертой и ветхой ступеньки. В полусумраке этих переходов чудились тени отошедших от мира сего иноков, строгих и молчаливых схимников...

Меня тянуло туда, к меловым серым конусам, к месту той пещеры, где в трудах и молитве, простой и возвышенный духом, проводил свои дни первый человек этих гор, та великая душа, которая полюбила горный хребет над Малым Танаисом. Дико и глухо было тогда в первобытных лесах, куда пришел святой человек. Лес бесконечно синел под ним. Лес глушил берега, и только река, одинокая и свободная, плескала и плескала своими холодными волнами под его навесом. И какая тишина царила кругом! Резкий крик птицы, треск сучьев под ногами дикой козы, хриплый хохот кукушки и сумеречное уханье филина – все гулко отдавалось в лесах. Ночью величавый мрак простирался над ними. По шороху и плеску воды угадывал инок, что вплавь переходят Донец люди. Молчаливо, как рать дьяволов, перебирались они через реку, шуршали по кустам и исчезали во мраке. Жутко тогда было в горной норе одинокому человеку, но до рассвета мерцала его свечечка и до рассвета звучали его молитвы. А утром, изнуренный ночными ужасами и бдением, но с светлым лицом, выходил он на Божий день, на дневную работу, и опять кротко и тихо было в его сердце...

Глубоко внизу подо мною все тонуло в теплых сумерках, мелькали огни. Там уже началась сдержанно радостная тревога приготовлений к светлой заутрене. А здесь, за меловыми утесами, было тихо и еще брезжил свет зари. Птицы, живущие в трещинах скал и под карнизами церковки, реяли вокруг, визжа, как старый флюгер, и всплывали снизу и неслышно падали вниз, в сумрак, на своих мягких крыльях. Туча с юга заволокла все небо, вея теплотой дождя, весенней душистой грозы, и уже содрогалась от вспышек молний. Сосны горного обрыва сливались в темную опушку и чернели, как горб спящего зверя...

Я успел сходить и на вершину горы, в верхнюю церковку, нарушил шагами ее гробовую тишину. Монах, как привидение, стоял за ящиком со свечами. Два-три огонька чуть потрескивали... Поставил и я свою свечу за того, кто, слабый и преклонный летами, падал ниц в этом маленьком храме в те давние грозные ночи, когда костры осады пылали под стенами обители...

III

Утро было праздничное, жаркое; радостно, наперебой трезвонили над Донцом, над зелеными горами колокола, уносились туда, где в ясном воздухе стремилась к небу белая

церковка на горном перевале. Говор гулом стоял над рекой, а на баркасе прибывало по ней в монастырь все больше и больше народу, все гуще пестрели праздничные малороссийские наряды. Я нанял лодку, и молоденькая хохлушка легко и быстро погнала ее против течения по прозрачной воде Донца, в тени береговой зелени. И девичье личико, и солнце, и тени, и быстрая речка – все было так прелестно в это милое утро...

Я побывал в скиту – там было тихо, и бледная зелень березок слабо шепталась, как на кладбище, – и стал взбираться в гору.

Взбираться было трудно. Нога глубоко тонула во мху, буреломе и мягкой прелой листве, гадюки то и дело быстро и упруго выскальзывали из-под ног. Зной, полный тяжелого смолистого аромата, неподвижно стоял под навесами сосен. Зато какая даль открылась подо мною, как хороша была с этой высоты долина, темный бархат ее лесов, как сверкали разливы Донца в солнечном блеске, какую горячую жизнью юга дышало все кругом! То-то, должно быть, дико-радостно билось сердце какого-нибудь воина полков Игоровых, когда, выскочив на хрипящем коне на эту высь, повисал он над обрывом, среди могучей чащи сосен, убегающих вниз!

А в сумерках я уже опять шагал в степи. Ветер ласково веял мне в лицо с молчаливых курганов. И, отдыхая на них, один-одинешенек среди ровных бесконечных полей, я опять думал о старине, о людях, почивающих в степных могилах под смутный шелест седого ковыля...

1895 г.

Иудея

И Господь поставил меня среди поля, и оно было полно костей.
Иезекииль

I

Штиль, зной, утро. Кинули якорь на рейде перед Яффой.

На палубе гам, давка. Босые лодочники в полосатых фуфайках и шароварах юбкой, с буро-сизыми, облитыми потом лицами, с выкаченными кровавыми белками, в фесках на затылок орут и мечут в барки все, что попадает под руку. Градом летят туда чемоданы, срываются с трапов люди. Срываюсь и я. Барка полным-полна кричащими арабами, евреями и русскими.

Пароход, чернея среди зеркального взморья, отдаляется, кажется маленьким. Мала и Яффа. До нее еще далеко, но воздух так чист, а восточные контуры ее кубических домиков, среди которых то там, то тут метелкой торчит пальма, так четки и просты. Уступами громоздится этот каменный, цвета банана, городок на обрывистом побережье. От рейда его отделяет длинная гряда рифов. За ними, у береговых отмелей, шелком сияют обвисшие паруса на высоких, тонких мачтах лодок. Их больше всего возле северной отмели, где когда-то был Водоем Луны, финикийская гавань. С севера к Яффе подступает золотисто-синяя от воздуха и солнца Саронская долина. С юга – желто-серые филистимские пески. На востоке – знойно-голубой мираж Иудеи. Там, за горами, – Иерусалим.

В штиль рифы обнажаются – барка спокойно проскальзывает между их ржавыми, мокрыми и нестерпимо блестящими на солнце глыбами. На пристани сараи – таможни. По гладким каменным уступам, в тени звонких переулочков поднимаемся к базару. О Стамбуле напоминает в первую минуту запах гниющих апельсинов и укропа, смешанный с чадом восточной кухни. Но нет, даже в самых глухих закоулках Стамбула нет плит, столь выбитых и отшлифованных копытами и туфлями, и такой толпы – таких грубых одежд, такого жесткого загара и таких гортанных криков! Вот базар с мокрым фонтаном, с водоносами под бурдюками и кувшинами, с верблюдами и собаками, с грудями фруктов и зелени, с кофейнями и лавчонками в крытых полутемных рядах... Да, тут все старее, восточнее. И небо над базаром ярче, и зной не тот. А какие дряхлые хананеи с красными кроличьими глазами меняют в сумраке рядов бешлыки на лепты и пиастры!

В садах вокруг Яффы – пальмы, магнолии, олеандры, чащи померанцев, усеянных огненной россыпью плодов. Запыленные ограды из кактусов в желтом цвету делят эти сады. Между оградами, по песчано-каменистым тропинкам, медленно струится меланхолический звон бубенчиков – тянется караван верблюдов. Где-то журчит по канальчикам вода – под однотонный скрип колес, качающих ее из цистерн. Этот ветхозаветный скрип волнует. Но еще больше волнует сама Яффа. Эти темные лавчонки, где тысячу лет торгуют все одним и тем же – хлебом, жареной рыбой, уздечками, серебряными кольцами, связками чеснока, шафраном, бобами; эти черные, курчаво-седые старики-семиты с обнаженными бурными грудями, в своих пегих хламидах и бедуинских платках; эти измаилитянки в черно-синих рубашках, идущие гордой и легкой походкой с огромными кувшинами на плечах; эти нищие, хромые, слепые и увечные на каждом шагу – вот она, подлинная Палестина древних варваров, земных дней Христа!

На другой день покидаем Яффу, направляясь по Саронской долине к Иерусалиму. Пустынный путь! Нарциссы долины, из-за легендарного плодородия которой было пролито столько крови, теперь начинают выпаживать. Иудея опять понемногу заселяется своими прежними хозяевами, страстно мечтающими о возврате дней Давида. Но цветов еще много, слишком много. Всюду мак, мак и мак: щедро усеял он эти пашни и нивы своими огненными лепестками.

Очаровательный ветер весеннего дня и приморской степи, солнечное тепло, сладкий аромат цветущих олив, хлебов и горячей земли веет в окна коротенького поезда, раз в сутки пробегающего по долине и горам к Иерусалиму. Он идет по волнистым полям, среди ржавых пашней и зеленых посевов, то и дело встречает вереницы верблюдов, стада черных коз и серых овец, кучками толпящихся то там, то здесь под охраной полудиких пастухов и собак, похожих на шакалов.

– Но, Боже, сколько маку! – говорит мой спутник, русский еврей, старик с большой серо-сизой бородой.

А за Лиддой и Рамлэ, – каменными кубами арабских городков, ярко белеющих под ярко-синим небом среди финиковых пальм и кипарисов, – почва становится еще суше, еще кремнистое и волнистей, а хлеба еще слабее и жиже. Начинается подъем, – до самого Иерусалима. Уже виден впереди серый камень, синь впадин и ущелий. Поезд медленно выбивает такт короткими вздохами, свистки его делаются гулки и звонки, путь извилистей; мы гладим на небо уже из какой-то голой, каменной котловины. И вот котловины начинают сменяться котловинами, ущелья ущельями... Иногда они оживляются сожженной зноем зеленью деревьев, растущих на их кремнистых ложах, или пелазгическими останками хананейских укреплений на куполообразных вершинах; иногда овцами, рассыпанными по сухим обрывам, среди голышей в лишаях и колючках; или рядами каменных оградок – следами террас, на которых спокон веку разводили здесь сады и виноградники... Только где же те «бездны», которыми будто бы поражают Иудейские горы? Где высоты, что будто бы «еще дышат величием Иеговы и ужасами смерти»?

Солнце скрылось, в горах тень. Мы уже в самой сердцевине их. Все поднимаясь и поднимаясь, проползаем кремнистые долины, извивающейся гусеницей огибает поезд серо-желтые каменные ковриги, густо усыпанные круглыми голышами... Это именно здесь, в одной из этих котловин, «взял посох свой в руку свою Давид и выбрал пять гладких камней из ручья и поразил Голиафа...»

Перед вечером поезд выползает, наконец, на темя гор – и вдали, среди нагих перевалов и впадин, изрезанных белыми лентами дорог, показываются черепичные кровли нового Иерусалима, окружившего с запада зубчатую сарацинскую стену старого, лежащего на скрытом от нас скате к востоку. Тут мой спутник поднимается с места, становится лицом к окну, закрывает глаза и быстро-быстро начинает бормотать молитвы. Мы уже на большой высоте, солнце стоит низко, поднялся ветер – и дрожь пробегает по телу при выходе из жаркого вагона. Не дрожь ли горького разочарования? Новый, но какой-то захолустный вокзал из серого камня. Перед вокзалом галдят оборванные извозчики – евреи и арабы. Дряхлый, гремящий всеми винтами и гайками фаэтон, пара кляч в дышле... И в то время как сизый носильщик швыряет в фаэтон наши чемоданы, спутник мой по-детски, ладонью наружу, закрывает глаза и тихо плачет, покачивая шляпой.

II

Вчера весь день я бродил по Иерусалиму, нынче объехал верхом вокруг его стен и на закате возвратился к Западным воротам.

Как груба и стара громада ворот! Зубчатая сарацинская башня, в упор освещенная низким солнцем, вся как будто из потемневшего от времени железа. Небольшая площадь за воротами почти вся в тени, падающей и от них, и от тяжелой цитадели Давида с ее рвами и бойницами. Направо – несколько европейских домов, магазинов. Напротив – улица Давида: узкий, темный, крытый холстами и сводами ход между старыми-старыми мастерскими и лавками. Из него выныривают навьюченные ослы, фески, женщины, с головой завернутые в покрывала, постукивающие деревянными скамеечками, заменяющими здесь туфли... Вечерний свет, падающий из ворот на жерло этого входа, делает его совсем черным. Как раз возле него – высокий, узкий дом, наш отель. Спрыгнув с лошади, я иду туда, где провожу все вечера, – на крышу. Иду по внутренним и наружным лестницам, на одном повороте останавливаюсь: за окном подо мной – громадный «водоем пророка Иезекии», темно-зеленая вода которого стоит прямо среди домовых стен с решетчатыми окошечками, пробитыми как попало – и очень высоко, и очень низко. Медленно спускается из одного такого окошечка кожаное ведро на веревке...

Солнце на закате. Я выхожу на крышу, снимаю пробковый шлем, и по голове моей дует с запада сильный и прохладный ветер. Небо глубокое, бледно-синее, без единого облачка. Я на темени Иудеи, среди волнистого плоскогорья, лишь кое-где покрытого скудной зеленью. Все мягкого, но очень определенного серо-фиолетового тона. Застывшие перевалы, глубокие долины, куполообразные холмы... За мной, в закате – оливковые рощи и раскиданные по холмам здания: католические приюты, школы, госпитали, виллы. На севере, на горизонте, – четкий известковый конус, гора Самуила. На востоке, за Кедром и горой Елеонской, – Иудейская пустыня, долина Иордана и стеной нежно-фиолетового дыма заступивший полнеба, ровный и высокий хребет от века таинственных Моавитских гор. Прямо же подо мною плоской, голой кровлей желто-розового цвета лежит каменная масса небольшого аравийского города, со всех сторон окруженного глубокими долинами и оврагами.

«Иерусалим, устроенный, как одно здание!» – вспоминаю я восклицание Давида. И правда: как одно здание лежит он подо мною, весь в каменных купольчиках, опрокинутыми чашами раскиданных по уступам его сплошной кровли, озаренной низким солнцем. Первобытно-простой по цвету, первобытно-грубый по кладке, без единого деревца, – только одна старая высокая пальма на южной стороне, – он весь заключен в зубчатую толщу стен и кажется несокрушимым. Он, воспетый Давидом и Соломоном, некогда блиставший золотом и мрамором, окруженный садами Песни Песней, ныне возвратился к аравийской патриархальной нищете. Уступами сходящий к кремнистой ложбине Кедрона, к переполненной несметными могилами Иосафатовой долине, окруженный пустырями и оврагами, он кажется тяжким и грубым вретисцем, одевшим славный прах былого.

Над ним высятся редкие минареты, католические колокольни и рубчатый черно-синий купол приземистой мечети Омара, занявшей место храма Соломона. За стеной домов, над водоемом, лежащим подо мною, два тоже рубчатых черно-синих купола. Это главы тяжких, вросших в землю храмов над Гробом и Голгофой. В чистом воздухе необыкновенно близка кажется мечеть. А до купола Гроба просто хочется дотронуться. Тысячи черных стрижей верезжат и носятся над этой каменной стариною. Солнце опускается, в темных норах и переходах, скрытых кровлею города, в грязных базарных рядах замирает шум и говор торга... Боже, неужели это правда, что вот именно здесь был распят Иисус? И неужели это над его Гробом блещет теперь в полумраке византийских сводов и подземелий жуткое великолепие несметных лампад, огромных погребальных свечей, золота и драгоценных камней, стоит бальзамический дым ладана, запах воска, кипариса, розовой воды!

Вот с какой-то католической башни одинокий звонкий колокол бьет семь. Когда замирает его последний звук, издали раздастся грустный сильный альт, призывающий к смиренному прославлению Аллы за мирно угасший день. Ветер с запада, холодный. Солнце

скрылось. На город и на всю Иудею пала легкая пепельная тень. Моавитские горы – как южное море в тумане. Блекнет серо-сиреневая пустыня Иордана. Пепел, павший на город, становится розово-сизым. Ветер колеблет перья одинокой пальмы, возвышающейся над ним...

Я оборачиваюсь: мутно-лиловые облака плывут по бледно-алому закату. Выше заката неба точно нет: что-то бездонное, зеленоватое, прозрачное. Потом я снова гляжу на восток, и меня уже слепит печальная тьма быстро набегающей ночи. Внизу стучат, поспешно закрывая лавки. Жизнь замирает, прячется в свои норы. Сумрачны стали купола Мечети и Гроба. Темным ветхозаветным Богом веет в оврагах и провалах вокруг нищих останков великого города. Или нет, – даже и ветхозаветного Бога здесь нет: только веянье Смерти над пустырями и царскими гробницами, подземными тайниками, рвами и оврагами, полными пещер да костей всех племен и народов. Место могилы Иисуса задавлено черно-купольными храмами. Мечеть Омара похожа на черный шатер какого-то тысячелетия тому назад исчезнувшего с лица земли завоевателя. И мрачно высятся возле нее несколько смоляных исполинских кипарисов...

«Се оставляется вам дом сей пуст...»¹

III

На Сионе за гробницей Давида видел я провалившуюся могилу, густо заросшую маком. Вся Иудея – как эта могила.

Я был в Вифлееме и Хевроне. Путь до Вифлеема самый живой из всех Иудейских путей. Я ехал утром, и в жарком блеске утреннего солнца и золотисто-синего воздуха тонули горы и долины на востоке, горячо и ярко белело шоссе передо мною, весело зеленели посевы по красноватым перевалам вокруг, в садах миссий ворковали дикие голуби. И вспоминались сады и виноградники Соломона:

– Цветы показались на земле; время пения настало, и голос горлицы слышится в стране нашей... Встань, возлюбленная моя! Выйдем в поле, побудем в селах; поутру пойдем в виноградники, посмотрим, распустились ли виноградные лозы...²

Как голос Жениха-Христа, обращенный к Невесте-Церкви, понимала древняя церковь этот сладкий весенний зов: «Встань, возлюбленная моя!» Но не ко всей ли земле был обращен этот зов?

По пути в Вифлеем зеленели когда-то сплошные сады, где «деревья опускали цветы долу, воды цистерн выходили из краев и на всех ветвях пели птицы, приветствуя проходящую с младенцем на руках Марию...»

Вифлеем – жизнь, воздух, солнце, плодородие; его тесно насыпанные по холмам палевые кубы смотрят на восток, на солнечно-мглистые дали Моавитских гор, от которых некогда пришла кроткая прама мать Давида Руфь.

Но за Вифлеемом – пустыня. Целый день только глинистые ковриги гор, усеянные круглыми голышами, да кремнистые долины. А ведь эта ржавая земля, перемешанная со щебнем, ведь это и есть Страна Обетованная, страна, что родит теперь больше всего дикого маку. Точно фиолетово-красные озера стоят в долинах среди гор, усыпанных голышами. Точно сперва кровавый, а потом каменный ливень прошел по этой стране...

Водоемы Соломона! Я ждал их с волнением – и вот увидел наконец. Влево от дороги стоят руины зубчатой сарацинской крепости. За ней вход в новую глухую, мертвую долину.

¹ Мф. 23:38.

² Песн. 2:12–13.

И уступами лежат в этой долине три гигантских цистерны. Первая суха, пуста. Во второй половина покатога дна чуть прикрыта бирюзовой водой. В третьей покрыто все дно. Густые зеленые кудри дикого плюща виснут со стен. Сквозь них шелковисто и дремотно шумят в тишине серебристые каскады. И заунывно-равнодушно наигрывает на плакучей свирели мимо проходящий пастух, зорко поглядывая на черных коз, рассыпанных среди голышей по окрестным обрывам. Маленькое, совсем черное лицо, женственно обрамленное шерстяным платком под двойным шерстяным обручем. Маленькая вьющаяся борода, огненные глаза. Грубые бедуинские башмаки. На худое тело надета белая рубаха до колен, подпоясанная платком. На плечи накинута траурная шерстяная хламида, белая в черных полосах. За плечами – кремневое ружье... Совсем не о Соломоне напоминает этот потомок Измаила и Агари! Жизнь совершила огромный круг, создала на этой земле великие царства и, разрушив, истребив их, вернулась к первобытной нищете и простоте...

Перед вечером видел я еще один след Иудеи. Ехали мы опять по долине, и проводник указал мне на пещеру у подошвы холма – на «пещеру Иеремии». Я свернул к ней. Вечер был мирный, с нежно синеющими далями, – летний вечер на юге России. Возле пещеры цвел куст дикого шиповника. Стрелой вылетел из нее шакал, мелькнул лисьим хвостом и, вскочив на пригорок, сел и наострил уши. На земле, при входе в пещеру, закопченной дымом, валялись пестренькие крылышки съеденной совки...

Под Хевроном холмы живописней. Все они опоясаны рядами террас, на которых зеленеют старые дубы, сереют старые сливы, лежат толстые лозы ханаанского винограда. Но чувствуется одно: приближаясь к первой столице Иудейского царства, все более углубляешься в страну ветхозаветных кочевников. Повстречался караван. Медленно двигались высокие верблюды, важно выгнув свои тонкие шеи, откинув маленькие головки с темными умными глазами и показывая большие продольные ноздри. Несколько черных оборванных разбойников шло сзади...

А Хеврон – это дикое мусульманское гнездо, серый каменный поселок в узкой Долине Возлюбленного. Базарная улочка его стара и грязна несказанно. Пройдя ее, поднимаешься на взгорье. Там одиноко стоит нечто вроде маленькой крепости, где почивают Авраам и Сарра – прах равно священный христианам, мусульманам и иудеям. Но мальчишки все-таки швыряют камнями в подходящих к нему поклонников немусульман, травят их собаками...

В Греции, Риме, Египте историческая жизнь почти не прерывалась. Гибли и они в свой срок. «И зарастали дворцы их колючими растениями, крапивой и репейником – твердыни их; и были они жилищем шакалов, пристанищем страусов; и звери пустыни встречались в них с дикими кошками, и демоны переключались друг с другом»³. Но мешало ли это возникновению среди развалин новых царств?

Не то было в Иудее.

В мире нет страны с более сложным и кровавым прошлым. В списках древних царств нет, кажется, царства, не предавшего Иудею легендарным бедствиям. Но в Ветхом Завете Иудея все же была частью исторического мира. В Новом она стала такою пустошью, засеянной костями, что могла сравниться лишь с Полем Мертвых в страшном сне Иезекииля. Ее необозримые развалины ужаснули самого Адриана. Что Навуходоносор перед Титом или Адрианом! Навуходоносор «пахал Сион». Тит «выше стен» загрозил его трупами. Приближение его было приближением воинства Сатанаила. Тучи сгустились, спустились над храмом Соломона, и, в гробовом молчании, сами собой распахнулись бронзовые двери его, выпуская воинство Иеговы. «Мы уходим!» – сказал Иудее неведомый голос. А при Адриане внезапно распалась гробница Давида, и «волки и гиены с воем появились на улицах пустынного Иерусалима». То был знак близкого возмездия за последнее отчаянное восста-

³ Ис. 34:13–14.

ние иудеев, перебивших на Кипре около трехсот тысяч язычников, в ветхозаветной ярости пожиравших мясо убитых, сдиравших с них кожу на одежды... И чудовищно было это возмездие!

Оно было исполнением пророчеств. Да замрет в Иудее «голос торжества и голос веселия, голос жениха и голос невесты»⁴. Да не останется камня на камне от великого, стократ погибавшего в крови и пламени Города Мира. Ибо на долгий, долгий срок земля его, вся пропитанная кровью, должна была стать «терном и волчцами»⁵.

Жить обычной жизнью после всего того страшного, что совершилось над ней, Иудея не могла. Долгий отдых нужен был ей. Пусть исчезнет с лица ее всякая память о прошлом. Пусть истлеют несметные кости, покроются маком могилы. Пусть почиет она в тысячелетнем забвении, возвратится ко дням патриархов...

И она возвратилась.

1908 г.

⁴ Иер. 7:34.

⁵ Ос. 10:8.

Пустыня дьявола

I

«Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему...»⁶

Глядя с крыш Иерусалима на каменистые окрестности – чаще всего на восток, на пустыню Иудейскую, – каждый раз вспоминаю я эти слова, – пролог величайшей из земных трагедий.

Дьявол, Азazel, имя и образ которого так и остались тайной, был издревле владыкой пустыни. Это он обитал в ее знойном серо-каменном море, некогда взбудораженном подземными силами и навсегда застывшем. Это ему каждый год – в десятый день седьмого месяца – посылали левиты и первосвященники Козла Отпущения – от лица всего Израиля, за все грехи его. И не странно ли, что именно оттуда прозвучали первые глаголы Предтечи!

После бури и молний Бог пришел в пещеру Илии в сладостном веянье ветра. Сладостным ветром было и пришествие в мир Иисуса. Но лежала «секира при корне дерева»⁷. Жуткими пророчествами возвестил Предтеча о Грядущем за ним.

Не было тогда города, равного богатством и красотой Иерусалиму. Из Яффы были видны его здания, блиставшие золотом и мрамором: «Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих»⁸.

В тишине зеленых долин, в мирных людных селениях протекла молодость Иисуса. Но в первые же дни служения своего должен был он отдать дань пустыне. Он крестится – и уже готов раскрыть уста, дабы благовествовать миру величайшую радость. Но – «Дух ведет его в пустыню», в царство Азazела, тех ветхозаветных, Богом проклятых мест, где «скрылся Каин, жаждущий крови брата своего». «И был Иисус там сорок дней, искушаемый сатаною, и был со зверями»⁹.

Пустыня видна с крыш Иерусалима. Пустыней называется только тот скат, та дикая и от века бесплодная вулканическая страна, что за Элеоном, эти растрескавшиеся от жгучего солнца бугры и перевалы, усеянные колючками и голышами, волны и впадины бывших землетрясений. Но разве власть Азazела не простирается и на тропически-знойный дол Иордана, – эту глубочайшую в мире изменчивость, с ее смертоносными лихорадками и воистину мертвыми водами, одно дыхание которых убивает все живое?

Небо нынче нежное, бледно-голубое. Небо и солнце затуманены дыханием полдня, сухого, горячего, душного. Жаром веет от старого каменного города, его узких и грязных базарных ходов под сплошной кровлей сизо-песочного цвета. Одинокая пальма, возвышающаяся на южной окраине, опустила свое неподвижное опахало. Тускло темнеют куполы Гроба Господня и мечети Омара. Тысячи черных стрижей кружат, сверлят полдневную тишину скрипучим врезжанием. И море пепельно-сиреневых холмов, простирающееся окрест, дремлет, теряется в мглистой суши...

Побледнела даже сказочно яркая бирюза у подошвы Моава.

⁶ Ис. 40:3–4; Лк. 3:4; Мк. 1:3; Мф. 3:3; Ин. 1:23.

⁷ Мф. 3:10.

⁸ Мк. 1:6; Мф. 3:4.

⁹ Мк. 1:12–13.

II

После полдня тянет легкий ветер, небо, воздух, солнце – все становится ярче, яснее.

За иссохшим руслом Кедрона дорога поднимается – мимо погребальной пещеры Богоматери, Гефсиманского сада и гробниц Авесалома и Иосафата, по каменистым склонам Элеона, среди несметных плит еврейского некрополя, стоящих как раскрытые книги, испещренные крупными письменами.

Есть ли в мире другая земля, где бы сочеталось столько дорогих для человеческого сердца воспоминаний?

Гроб Мариам! У стен сада, столь любимого сыном, в ложе кремнистой долины, под сводами древнего полуподземного храма, во тьме которого блещут огни, оклады и самоцветы, почилла она, простая женщина из Назарета, венчанная высшею славой – земной и небесной.

А русло Кедрона? Это дол Иосафата, место грядущего Страшного суда, великая житница Смерти. Нет правоверного иудея и мусульманина, который не полагал бы несказанной радостью быть погребенным в этой юдоли и не верил бы, что и всех лишенных этой радости созовет в нее Господь в день суда своего. Он ведь сказал устами Иоила: «Я соберу все народы и приведу их в долину Иосафатову»¹⁰.

Солнце уже клонится к западу, за Иерусалим. От его восточной стены пала тень. Но ослепительно-золотисты скаты Элеона, дорога, извилисто прорезанная по ним, плиты и гробницы. Золотиста лазурь над Кедроном и горой, золотисто-песочного цвета ястреба, реющие над нами, трепещущие своими острыми, в черных ободках крыльями: любят они эти скаты, любят сушь пустыни, в которую медленно вступаем мы, огибая среди запыленных олив Элеон.

За Элеоном Вифания. Это уже преддверие пустыни. Несколько старых верблюдов в грязно-рыжей сухой шерсти загораживают дорогу на повороте, грубым видом своим говоря о патриархальных скитаньях в камнях и песках. Но кругом еще мирно и весело. Чист и силен предвечерний свет, дали ясны, небо бездонно, склоны и холмы в садах и виноградниках. Даже тощие посевы зреют кое-где на глинистой почве между ними. И Абудис, что направо, и Вифания, что налево, – несколько кубов из серого булыжника, окруженных смоковницами, огромными кактусами, запыленными терновниками; в крутых, кривых и узких проходах между ними всюду сор и тряпки, полуголые черные дети, слепцы и убогие. Но как все-таки должны были радовать после пустыни их сады и люди!

И живым кажется образ Иисуса. Сколько раз подходил он сюда, похудевший, побледневший за дорогу в пустыне! Здесь жили друзья его. О древности могилы Лазаря говорят те камни времен Ирода, из которых сложен вход в могильную пещеру, куда спускаются узкой холодной шахтой, со свечой в руке. Подлинней же всего древность того пути, что ведет от Вифании в страну Азазела глубокой, извилистой и страшной в своей мертвенности ложиной Эль-Хот.

Этот путь неизменен от века. Иных сносных путей в пустыне Иудейской нет, не было, да и не могло быть, ибо только на этом пути есть источник, – источник Апостолов, – без которого немислимы переходы по ней.

От Вифании начинается спуск, неуклонное падение. И страна, лежащая окрест, сперва поражает своей красотой, волнует радостью, обманывает, как искуситель.

На одном из скатов за Вифанией мы останавливаемся, очарованные. Воздух так прозрачен, точно его совсем нет. И пустыня, каменным волнистым морем падающая к Иордану, кажется так мала! Как серебристо-голубой туман – далекая и неоглядная долина Иордана.

¹⁰ Иоил. 3:2.

Южное устье ее налито сейчас таким густым и ярким аквамарином, который кажется неестественным на земле. А Моавитские горы похожи на великую грозовую тучу против солнца, заступившую весь восток и ни с чем не сравнимую по нежности, воздушности. Но минута – и это видение исчезает надолго, надолго...

Мы теперь в стране, лишенной всякого очарования, – если не считать редких пятен огненного мака, кое-где оживляющего ее. Резкими, крутыми изломами вьется и падает дорога с возвышенности на возвышенность. Быстро замыкается горизонт скалистыми и глинистыми ковригами, разделенными такими же логами... Мы уже давно в глубоком, извиленном ложе потока, иссохшего в незапамятное время, и известковая дорога, пробитая здесь тоже с незапамятного времени, поминутно переходит с одного бока на другой. Ни единого живого существа, кроме ящериц, не замечает глаз и не слышит ухо, гробовая тишина стоит над этой страной, столь бесплодной, что даже древнейших кочевников ужасала она, навеки связанная с образом незримо Обитающего в ней. Недаром бедуины еще и до сих пор складывают вдоль Вади-эль-Хот пирамидки из щебня – в знак заклятия темных сил пустыни. Нет никакого сомнения в правоте тех, что называют этот путь именно тем, по которому, до самой таинственной «середины» его, провожали левиты жертву Аззелу. Какой же ужас должен был охватывать проходящих здесь при виде Иоанна, решившегося разделить его обитель, когда внезапно, во весь свой рост, с громовыми глаголами, появлялся он перед ними из-за камней, в одежде из верблюжьего волоса! И что должно было испытать сердце Иисуса, обреченного провести здесь столько ночей – с их призраками, с лихорадочно-знойным ветром от Мертвого моря!

III

В глубокой котловине, из которой видны только жесткие очертания окрестных бугров да вечернее небо, белеет хан, – нечто вроде каменного сарая, – и жарко блестит при низком солнце вода возле него. Это место, где не раз отдыхал Иисус. Это «источник Апостолов», или, по-древнему, источник Солнца, ибо не могли не посвятить древние эту «жизнь пустыни» богу жизни. Три бедуина, без плащей, с черными палками в серебряных обручах, стоят возле худых осликов и поджарых потных лошадей под седлами, с жадностью пьющих. Два сидят на пороге хана и курят, пристально глядя на нас черными византийскими глазами. Эти глаза ровно ничего не выражают, но кто знает, что на уме у этих измаильтян?

Те, что у источника, – народ оборванный и невзрачный. Сидящие на пороге – дело иное. И особенно один из них. Он неподвижным взглядом следит за нами, пока мы поим лошадей. Потом, ни на йоту не изменяя лица, кидает своему спутнику какую-то короткую гортанную фразу, совершенно не шевеля губами и так бесстрастно, точно это не он говорит, а кто-то внутри его. И поднимается во весь свой громадный рост. Ноги его, обутое в стоптанные сапоги, очень длинны и слегка кривы, голова мала, откинута назад. Он на редкость худ, одежды на нем без числа. По плечам висят концы белого шерстяного платка, накинутого на голову и резко оттеняющего черноту глаз, сизый загар маленького жесткого лица, блестящую смоль редкой жесткой бородки. Тонкая, цвета мумии, шея обмотана шелковым лиловым платком. На теле – белая рубаха до колен, поверх рубахи бланжевый шерстяной халат в синеватых полосках, поверх халата – кубовая кофта на вате; и все это под широкой и длинной хламидой из черно-синей шерсти. Он идет, поправляя одной рукой заткнутые за широкий пояс из шали кремневые пистолеты и кинжалы, а другой – карабин за плечами.

– Откуда?

– Из Газы.

– А куда?

– В Иерусалим.

Но почему же, севши на свою резвую, злую и поджарую лошаденку, он поворачивает за нами? Мы едем на изволок рысью, – он не отстает. Мы прибавляем рыси, прибавляет и он, расширяя ничего не выражающие глаза и блестя зубами в ответ на наши удивленные взгляды... И вдруг, поравнявшись со мной, сует мне в руки медный латинский образок. Он кричит, что это – золото, и просит за него всего десять франков. Соглашается, впрочем, и на два. А получив их, круто поворачивает и исчезает за холмами и буграми, по которым уже синеют вечерние тени.

Вечернее низкое солнце все реже блещет на перевалах. Временами, из боковых оврагов и ущелий, из-за скал и известковых бугров, дует ветер, – порывистый, как дыхание горячего. И только топот копыт раздается в гробовой тишине окрест, в скалах вдоль извилистого дна Вади-эль-Хот. «Отсюда начинается дебрь самая дикая, – говорит один старинный паломник. – Эта дорога есть древняя, проложенная самою природою. Иосиф Флавий упоминает о дикости ее. Невступно через два часа от Иерусалима мы поднимались на гору, на вершине которой видны остатки хана или гостиницы Благого Самаритянина. Это место называлось издревле Адомим, или Кровавое, по причине частых разбоев, здесь происходивших...» И глубокая тоска охватывает душу на этой горе, возле пустого хана, при гаснущем солнце. Вот она, эта «середина» пути, Бет-Гадрур, где бросали на произвол судьбы жертву Азазелу, – известковый перевал, поразивший некогда воображение самого Иисуса и создавший такую трогательную притчу! На этой «середине пути», который считался путем в преисподнюю, плакал сам прародитель, лишенный Эдема...

Чем дальше от Гадрура, тем все круче падает в провалы и ущелья известковая дорога, а с перевалов уже видно, что окрестные бугры изменили свой вид и состав, – стали конусообразными, похожими на потухшие вулканы, однообразного верблюжьего цвета. Уже несколько раз открывалась перед нами и долина Иордана, поражая обманчивой близостью своего пустынного, серо-блестящего от соли пространства, по которому, вдоль узкой реки, вьется темная лента зелени. Пространство за Иорданом, горы, кажущиеся теперь еще более похожими на тучи, и синее устье Мертвого моря ярко озарены низким солнцем. Но уже почти до самой середины долины достигает тень от Иудейской пустыни, обрывающейся над Иерихоном высокими скалистыми стенами. Тень и вокруг нас, – на всех буграх и во всех котловинах.

Многих обгоняем мы теперь, столь же диких и нищих, как в дни доисторические. Вот опять идут верблюды и за ними – идумейцы, в уголь сожженные ветрами и голодом, в одних кубовых линючих балахонах, их полуголые дети, облезлые собаки и с отрочества состарившиеся жены с лениво-скорбными, темными, как древнеаравийские предания, глазами. Вот черный и губастый старик в одной грязной рубахе, раскрытой на груди. Он сидит на ослике, гонит его, волоча по земле свои черные босые лапы. Вот верховой турецкий солдат, с карабином наперевес, зорко оглядывающий окрестные ущелья и овраги... Все спешат в Иерихон – единственное человеческое жилье, единственный оазис во всей Иорданской долине. И как только стемнеет, ни души не останется на этой страшной древней дороге.

IV

Ночи здесь сказочно-прекрасны. Они околдовывают трижды мертвую страну лихорадочными сновидениями, воскрешающими содомскую прелесть ее давно минувшей жизни.

В сумерки, на последнем, самом крутом спуске в долину, влево от дороги, внезапно открылась глубокая каменистая трещина – ущелье Кельта – и проводила нас до самой долины. Смутно белела дорога, шумел поток на дне уже совсем темного ущелья, и печально краснело несколько огоньков в скалистой стене за ним: там древнейшие притоны аскетов, тысячами погребавших себя заживо в криптах, которыми сплошь изрыты скалы Кельта. А

когда мы спустились в долину и повернули влево, к Иерихону, черным и тяжким обрывом, уходящим в небо, встал перед нами кряж горы Сорокадневной. И огонек, чуть заметной точкой красневший и на этом обрыве, опять напомнил о той страшной борьбе, которую впервые воздвигли здесь люди против искушителя.

Вся иорданская низменность, страна, что некогда «орошалась, как сад Господень»¹¹ и на весь мир славилась легендарным плодородием, красотой и греховностью Пятиградия, дворцами и твердынями трижды возрождавшегося из развалин Иерихона, поражает теперь тем запустением, «где лишь жупел и соль, где злак не прозябает, где ни голос человеческий, ни бег животного не нарушает безмолвия». Сады Иерихона дышали в дни его славы благовониями бальзамических растений, индийских цветов и трав. «Пальмы и мимозы, сахарный тростник и рис, индиго и хлопок произрастали в долине Иордана». Об этом свидетельствует даже и тот оазис, что уцелел на местах исчезнувшего с лица земли иорданского рая, даже имя того селенья, что наследовало Иерихону: Риха – благовоние. Но оазис этот, тропически зеленеющий у подножия горы Сорокадневной, близ источника пророка Елисея, так мал в окрестной пустыне, а селенье все состоит из двух-трех каменных домов, нескольких глиняных арабских хижин и бедуинских шатров.

В сумерки долина была молчалива, задумчива. Я сидел за Рихой, на одном из жестких аспидных холмов, что волнами идут к горе, – на могилах Иерихона, кое-где покрытых колючей травкой, до черноты сожженной. Далекие Моавитские горы, – край таинственной могилы Моисея, – были предо мною, а запад заступали черные обрывы гор Иудеи, возносивших в бледно-прозрачное небо заката свой высший гребень, место Искушения. Оттуда тянуло теплым сладостным ветром. В небе таяло и бледнело легкое мутно-фиолетовое облако. И того же тона были и горы за пепельно-туманной долиной, за ее меланхолическим простором. И туманной бирюзью мерцало на юге устье Моря, что терялось среди смыкавшихся там гор...

Но вот наступила и длится ночь. Она коротка, но кажется бесконечной. Еще в сумерки зачался таинственно-звонящий, горячечный шепот насекомых, незримиными мириадами наполняющих душную чашу оазиса, и приторно-сладко запахла его эвкалипты и мимозы, загоревшиеся мириадами светящихся мух. Теперь этот звонкий шепот стоит сплошным хрустальным бредом, сливаясь с отдаленно-смутным гулом, с дрожащим стоном всей долины, с сладострастно сомнамбулическим ропотом жаб. Стены отеля, его каменный двор – все мертвенно-бледно и необыкновенно четко в серебристом свете этих тропических звезд, огромными самоцветами повисших в необъятном пространстве неба. Оно необъятно от необыкновенной прозрачности воздуха – звезды именно висят в нем, а на земле далеко-далеко виден каждый куст, каждый камень. И мне странно глядеть на мою белую одежду, как бы фосфорящуюся от звездного блеска. Я сам себе кажусь призраком, ибо я весь в этом знойном, хрустально-звонящем полусне, который наводит на меня дьявол Содомы и Гоморры.

Я лунатиком брожу по саду и по двору отеля, но, кажется, никогда еще не было столь обострено мое зрение, слух. Все сливается в блеск и тишину. Но вместе с тем я вижу каждую отдельную искру, слышу каждый отдельный звук. Я вынимаю часы. Понимаю, что уже два, что самоцветы, плывущие в бездонном пространстве с востока, становятся все крупнее и лучистее, что мои ноги подламываются от смертельной усталости. Но разве у меня есть власть над собой?

Сад кружится в беззвучном кружении зелено-лиловых мух, их скользящих огненных вихрей. Как райское дерево, трепещет и переливается искрами сикомор¹² во дворе. Сверху донизу горят и блещут ими кустарники, сахарный тростник...

¹¹ Быт. 13:10.

¹² Сикомор – смоковница, вид фигового дерева.

Много раз я пытался заснуть, входил в дом, в свою темную, горячую комнату, ложился под душный кисейный балдахин, но и здесь эти ароматы, эти скользкие искры, этот дрожащий хрустальный бред, которым околдован весь мир. Сердце тоже дрожит, тело, поминутно палимое жалами moskitov, покрывается горячечным потом. И так звонко кричит жаба в бассейне среди Двора, и так отдается ее однообразно вибрирующий призыв в этом каменном доме с раскрытыми окнами и настезь распахнутыми дверями, что я опять спешу покинуть его – и с болезненной жадностью и радостью ловлю глоток воздуха на пороге крыльца...

Крыльцо белеет все ярче, фигура спящего на нем слуги-араба стала еще чернее. Раздвоившийся Млечный Путь, густым, но прозрачно-фосфорическим дымом протянувшийся с севера на юг, совершенно отделился от неба, повис на самой середине пространства между ним и землею. Кажется, близок рассвет! Кажется, стихает, замирает бред и ропот вокруг. Сперва по камням, а потом по теплому песку я спешу за селение – взглянуть на долину, на Моав, на восток. Но на востоке все еще только поздние крупные звезды. Бледный серебристый свет их стоит над далеким мертвенно-бледным Морем. Бледные пески долины мерцают как бы манной. Бледные полосы тумана тянутся по извилам Иордана, – и уже смертоносная влажность чувствуется в воздухе. И бледным дымом спустилось и легло облако у подножия горы Сорокадневной, чернеющей среди звезд своей вершиной...

«Отойди от меня, Сатана»¹³.

1909 г.

¹³ Мф.4:10.

Страна содомская

Только на рассвете тянет в окна легкая прохлада вместе с ароматом эвкалипта.

Ночью, при звездах, старые деревья во дворе отеля казались сказочно-высоки и ветвисты. Теперь они принимают обычные очертания. Смолкли жабы, замер звон насекомых в кустарниках, погасли огненные мухи. Мы выходим за ворота, садимся на лошадей; все молчит и в тех немногих хижинах, что зовутся Иерихоном или Рихой; всюду сон, один сверчок трюкает в каменной верее, от которой еще дышит тепло ночи. Но за мечетью уже слышен говор.

Ее белый невысокий минарет стоит при дороге, на самой окраине Рихи. Под ним часто ночуют бедуины. Ночевал небольшой караван и нынче. Мы проезжаем мимо него; понукаемые вожаками, глухо урчат верблюды, поднимаясь с теплого песка. Над мечетью, в светлеющей вышине крупной слезой висит Венера. На востоке, над синеватым Моавитским кряжем, небо шафранное. Но еще по-ночному тлеет костер табора, летучие мыши реют вокруг мечети.

За садами Рихи, на западе, – обрывы Иудеи. Отчетливо слоятся серо-фиолетовые уступы горы Искушения. Но внизу еще тень, и, верно, мыши принимают ее за сумерки, когда и создал их Христос. Он сорок дней и ночей провел в пещере над Иерихоном, на обрыве, закрывающем запад, – он не знал, когда садится солнце и когда надлежит совершать молитву. И вот однажды поднялся он на вершину и, как только скрылось солнце, начертал на пыли то легкое, таинственное создание, что так любит сумрак. Он вдохнул в него жизнь и сказал: «Каждый вечер на закате солнца вылетай из расселин горы, где отныне будет твое жилище, дабы знал я час молитвы...» Я поднимаю голову, вспомнив эту дамасскую легенду, и не узнаю окрестности: мы проехали версту, не больше, а уже день, совсем день.

Глухой котловиной, бесплодным и безлюдным долом тянется с севера на юг, от самого моря Тивериадского, известково-песчаная пустыня, которую почти напрямик пересекает путь от Рихи к Иордану. Те, что пытались исследовать ее, видели по реке всего два-три селения, – даже каменистый Моав, дочерна спаленный солнцем, люднее иорданских берегов. То же и здесь: на всем огромном пространстве, окружающем нас, лишь одно живое место – оазис Рихи. Оглядываясь, видишь белые пятна хижин среди темной зелени, приютившейся под горным обрывом. Там, в садах, еще растет деревцо небд, приносящее акриды¹⁴, растет бальзамический цаккум, сизый терн, из которого сплели венец Иисусу, а весной цветет много диких индийских цветов. Но как поверить, что это там был и неприступный Иерихон ханаанский, и «божественный город садов» Ирода, что вот этой долиной искушал Иисуса дьявол?

Впереди все то же: пепельно-серые дюны, кое-где жесткий, осыпанный солью кустарник. Небо просторно, огромно. Чуть не в самом зените тает алая звезда Венеры. Но и до нее уже достигает восходящий из-за гор Моава, охвативший полвселенной сухой, золотисто-шафранный свет. Одно Мертвое море прячется от света. Вот оно – у самого подножия ее, за тем голым побережьем, что белеет вдали, вправо.

Ясно виден и обманчиво близок кажется северный залив. Но синее он тускло, керосинно...

«Символ страшной страны сей – море Асфальтическое»¹⁵, говорили когда-то. Страх внушает она пилигримам и доньше, трижды проклятая и трижды благословенная. Мало совершивших путь по всей извилистой стремнине Иордана с его зноем и лихорадками. Но еще меньше тех, что пускались в заповедные асфальтические воды. Легче, говорили

¹⁴ Акриды – саранча.

¹⁵ Асфальтическое море – Мертвое море в Малой Азии, на месте которого прежде были четыре города: Содом, Гоморра, Адана и Севоим. Их жители погибли от гнева Божия за свое беззаконие.

они, пройти все океаны земные, чем это крохотное море, черные прибрежные утесы которого неприступно круты, пугают глаз человекоподобными очертаниями и так смолисты, что могут быть зажжены, как факелы, – море, дно которого столько раз трескалось от землетрясений и выкидывало на поверхность те таинственные вещества, что служили египтянам для сохранения мертвых от тлена, море, жгуче-соленые, горькие волны которого тяжки, как чугун, и в бурю, «покрытые кипящим рассолом», потрясают берега своим гулом, между тем как пламенный ветер до самого Иерусалима мчит столбы песку и соли... Длится и все светлее становится золотисто-шафранное аравийское утро. Толкут и толкут копыта наших лошадей твердую, растрескавшуюся дорогу. Но ни единая птица не взвивалась еще с радостной утренней песней над долиной. И, верно, ни единой живой души и не встретим мы, кроме разве жадно-трусливой души кочевника или гиены. Впереди, среди пустыни цвета пемзы, – лента прииорданской зелени, чащи ив, тамарисков, камышей...

Так богата и прекрасна была некогда эта долина, что дьявол издревле избрал ее местом греха, искушений. Это он опьянил сладостью страсти и порока Пятиградие, переполнившее чашу терпения Предвечного. Это он внушил дочерям Лота жажду кровосмешения, дабы от родного отца зачала старшая из них Моава: «И дождем пролил Господь огонь и серу, ниспроверг города сии, и всю окрестность их, и всех жителей, и все произрастания земли...»¹⁶ Но легендой патриархов стали дни гнева, и снова зацвел «сад Предвечного», снова возродился столь прекрасным, что заповедан был любимейшему из чад Божиих. – Солнце встало над Моавом, затопило его блеском и уже палит долину. Какие-то большие металлически-серые мухи липнут к жарким гривам лошадей, скорпион шуршит, бежит укрыться в легкой голубой тени под застывшей песчаной волной. Вольно смотреть из-под шлема на дорогу, но тянет взглянуть в блеск Моава, тянет найти ту вершину, с которой показал Господь Моисею всю радость земли обетованной: «Взойди на гору сию, на гору Нево, что в земле Моавитской против Иерихона, и посмотри на землю Ханаанскую, и умри на горе, на которую ты взойдешь, и приложишь к народу твоему...»

Библия подчеркивает, что *блудница* дала приют первым израильтянам, проникшим в Иерихон. И страшным заклятием заклял Навин Израиля, овладев страной и дотла уничтожив красу Иерихона: «Проклят перед Господом тот, кто восставит и построит город сей Иерихон!»¹⁷ Но разве не следы Навина – те гилгалы, что рассеяны в долине Иерихонской, те огромные диски из камня, первобытные кровавые жертвенники Ваала-Солнца, что благоговейно полагал в круги сам народ израильский?

На тропические шлемы мы накидываем бедуинские платки. Лошади пошли шагом, неустанно мотая головами, отбиваясь от мух. Они машут кистями и разноцветными бусами, которыми украшают здесь уздечки. Шей их стали мокры, темны и тонки. В легкой и все же душной тени платка дышишь как бы жаром раскаленного костра. Близок Иордан, – уже тянет запахом речной воды, запахом горячего ила... Теперь и от великой реки остался только узкий и мутный поток, от первобытно-густых зарослей на берегах ее – кайма ив, камышей и кустарников, опутанных лианами.

Масара, то место Иордана, где отдыхают пилигримы, предания называют местом крещения Иисуса. «В те дни пришел Иисус из Назарета Галилейского...»¹⁸ В те дни долина переживала третий и последний расцвет. Тщетно было заклятие Навина, – еще раз вырос новый Иерихон. И вот дьявол искушает прелестью его самого крестившегося Сына Божия. «Возвед его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал ему: тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, *ибо она предана*

¹⁶ Быт. 19:24–25.

¹⁷ Нав. 6:25.

¹⁸ Мк. 1:9.

*мне*¹⁹. Серопесчаный берег обрывист и крут. Густая желтоватая вода, крутясь, бежит под ветвями ив, под корнями, покрытыми наносною травой, илом. Лошади тянутся к воде, вязнут по колена и долго, жадно пьют. Мертвая тишина кругом и сквозная горячая тень над головою. Мысли беспорядочны, смутны, но стремятся все к одному – связать то простое, что перед глазами, с страшным прошлым этой пустыни. Хочешь представить себе то, что доступно только Богу, – жизнь тех легендарных ханаанских городов, от которых уцелели лишь названия. Думаешь о знойно-мглистом Моаве и опять слышишь слова Второзакония: «И полуденную страну, и равнину долины Иерихона, город Пальм, до Сигора увидал Моисей... И умер там, в земле Моавитской, по слову Господню, и погребен в земле Моавитской, и никто не знает места погребения его даже до сего дня...»²⁰ Думаешь об иерихонских бальзамах Клеопатры, о термах Ирода – и опять возвращаешься к искушению Иисуса от дьявола... И теряешься в образах времен Рима, Византии, Омаров... Великими крестовыми битвами во имя и славу того, кто отверг здесь славу всего земного, обрывается летопись этой страны. За ними века молчания, никому не ведомых и несчетных подвигов отшельничества, погребения себя заживо в могильниках навеки забвенной Иудеи. В молчании, вдали от жизни всего мира, множатся, как соты ос, крипты²¹ в каменистых обрывах Иудейских и Аравийских гор; в прибрежных скалах страшного Асфальтического моря, в огненных ущельях созидаются дикие обители. Но ураганами проносятся набеги от Дамаска, от Багдада, от Геджаса, и вот – пустеют и крипты, переполненные костями избиенных иноков, глохнут разоренные обители... И опять, опять воцаряется он, древний бог пустыни!

Полдень проводим у самого моря. Жутко звучит на его нагом, ослепительно-белом прибрежье это слово – полдень. Прииорданские камыши и кустарники не смеют дойти сюда вместе с Иорданом: далеко вокруг песчано-каменисто и покрыто солью, селитрой то место, где сливается река с маслянистой, жгуче-горькой и тускло-зеленоватой водой асфальтической. На коралловые похожи те как бы окаменевшие ветви, что приносит сюда течение реки и что снова, уже мертвыми, выкидывает море. В знойно-мглистой дали теряется оно на юге. Там – дни Авраама, Агари, Измаила. Там, в капище Эль-Лат, племя Тарик еще доныне поклоняется гилгалу Солнца – полубога, полудьявола.

1909 г.

¹⁹ Лк. 4:5–6.

²⁰ Втор. 34:6.

²¹ *Крипта* – в первые века христианства капелла в катакомбах, в которой погребались святые и мученики и происходили молитвенные собрания верующих.

Геннисарет

В Вифлееме, в подземном приделе храма Рождества, блещет среди мраморного пола, неровного от времени, большая серебряная звезда. И вокруг нее – крупные латинские литеры, твердая и краткая надпись:

*Hie de Virgine Maria Iesus Christus natus est.*²²

В приделе, как и подобает пещере, бедно. Но огнями, серебром, самоцветами переливаются над звездой неугасимые лампы. Там, наверху, – жаркое и веселое солнечное утро, пестрота и крик восточного базара. Здесь – холод, сумрак, благоговейное молчание:

Hie de Virgine Maria Iesus Christus natus est

Есть древние пергаменты, называемые палимпсестами, – хартии, письма которых полустерты или покрыты чем-либо, чтобы, на месте их, можно было начертать новые. В Вифлееме чувствуешь, прозреваешь то драгоценное, *первое*, что сохранилось на его священном палимпсесте. В царские одеяния облекли рожденного здесь, царям, путеводимым звездой, повелели принести ему, лежащему в яслях, венцы свои, золото, ливан, смирну, и легендами, прекраснее которых нет на земле, расцветили сладчайшую из земных поэм – поэму его рождения. Но, когда благоговейно склоняешься над нею в Вифлееме, проступает простое, *первое*.

Назарет – детство Его. Там протекло оно в тишине, в безвестности. Там огорчали и радовали его игры со сверстниками, там ласковая рука матери чинила его детскую рубашечку... Ветхие пергаменты Назарета остались во всей своей древней простоте. Но скудны и чуть видны письма, уцелевшие на них! И великую грусть и нежность оставляет в сердце Назарет. Помню темные весенние сумерки, черных коз, бегущих по каменистым улочкам, тот первобытно-грубый каменный водоем, к которому когда-то приходила она, помню ее жилище, маленькое, тесное, пещерное, полное вечерней тьмы, пустующее уже две тысячи лет... Как полевой цветок, мало кому ведомый, выросший из случайно занесенного ветром семени в углу покинутого дома, расцвела и здесь легенда, может быть, самая прекрасная, самая трогательная: без огня, по бедности родителей, засыпал Божественный младенец; мать сидела у его постельки, тихо заговаривая, убаюкивая его; а чтобы не было скучно и жутко ему в наступающей ночи, светящиеся мушки по очереди прилетали радовать его своим зеленым огоньком.

А страна Геннисаретская, где прошла вся молодость его, все годы благовествования, все те дни, незабвенные до скончания века, для них же и был он в мире, – она совсем не сохранила зримых следов его. Но нет страны прелестнее, и нигде так не чувствуется он!

В ясный вечер, при заходящем солнце, подходим мы к Геннисарету по Иорданской долине. Все дико, голо, просто вокруг: и в долине, и по каменистым предгорьям, обступившим ее, – серо-коричневым, в золотисто-рыжих пятнах по склонам, где от солнца выгорели травы. Тропинка ведет нас среди желтого, уже созревшего и подсохшего ячменя. За ним – прибрежная деревушка, глиняная, без единого деревца, кажущаяся необитаемой. Пройдя по серым пескам, на которых стоит она, увидели мы водную равнину чудесного зеленого тона, теряющуюся в горной дали, замкнутой неясной громадой пегого Гермона.

Солнце было за горами. Свет его гаснет здесь быстро, а как только он гаснет, с гор срывается недолгий, но сильный ветер. И темнеющее озеро уже шумело от крупной зыби. Четыре гребца наших поспешили кинуть весла, вздернуть парус и привалиться к бортам,

²² Здесь Девойю Марией рожден Иисус Христос (лат.).

затянув что-то тоскливо-беззаботное. Ветер ударил в парус, крепко накренил его, – и мы понеслись в сумрак, на дальние огоньки Тивериады, рассыпанные под черной горою, стучая днищем по волнам, черпая воду. Я крикнул, чтобы ослабили парус: эти полуголые, худые, загорелые галилеяне, в своих войлочных круглых колпачках, прикрывающих только макушку, крикнули что-то в ответ. «Становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Дул сильный ветер, и море волновалось...» Да, да, это было здесь! Он дышал этим мягким, сильным, благовонным ветром! – Через час мы были уже в Тивериаде, маленькой, тесной и грязной, где лишь один сносный приют – старый латинский монастырь на самом берегу.

От Тивериады кесарей ничего не осталось. Француз-настоятель, пригласивший нас ночевать в монастыре, а перед сном выйти на кровлю, с которой далеко видно было успокоенное в лунном свете озеро, жаловался: они изнемогают от скуки и тропического зноя в этом навозном местечке; вокруг них – пустыня; от Магдалы сохранилось только название; от Капернаума – груды камней, где итальянцы-монахи ведут раскопки; в Табхе всего пять человек братии... «Это близ Капернаума, на северном берегу?» – Да, да, – сказал настоятель, глядя на туманные предгория Гадаринские, за озеро. Луна сияла – высоко-высоко. Все озеро было в светлом, тончайшем пару. Знойно звенели внизу ночные цикады – на пыльных кустарниках, на столетних придорожных кактусах. Тивериада спала...

Мне долго не давал уснуть козленок, жалобно плакавший где-то по соседству. В маленькое окошечко, пробитое в каменной стене почти под потолком, белело сквозь железную решетку лунное небо. В полутемной жаркой келье беззвучно плакали москиты. Блохи же Тивериады упоминаются даже в путеводителях... Но я поминутно говорил себе: я в Тивериаде! Эта ночь была одной из счастливейших во всей моей жизни.

Ранним утром мы поплыли в Капернаум. Озеро недолго дышало утренней свежестью. Вот уже растянули белый парусиновый навес над лодкой, – и он озаряет лица. Солнце все ослепительней и жарче. Озеро штилеет. Желто-рыжие верхи предгорий Гадаринских делают водные зеркала у берегов золотыми. Вода же под лодкой – зеленая, прозрачная, кажется бездонной. Гребцы дружно работают, и от поворачивающихся в воде весел извиваются, уходят в глубину как бы толстые змеи медянки с серебряными брюхами. Пот уже градом льет с красных лиц гребцов. Они – рыбаки, в лодке лежат их сети... «Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море...»²³ Разве не мог призвать он и этих? Они еще несколько раз налегают на весла – и поднимают их: лодка, чуть журча, добегаёт до берега. Мы выходим и оглядываемся. На берегу, среди колючих кустарников и розовых цветов олеандра, – груды белых камней, колонн: это и есть развалины знаменитой синагоги Капернаумской, куда столько раз, в такие же знойные дни, входил он, теснимый народом, искавшим коснуться его. Тишина, солнце, блеск воды. Сухо, жарко, радостно. И вот он, с раскрытой головою, в белой одежде, идет по берегу, мимо таких же рыбаков, как наши гребцы... Симон и Петр, «оставив лодку и отца своего, тотчас последовали за ним...»²⁴

Табха между Капернаумом и Магдалой. Мы опять поплыли мимо невысоких холмов в тех же бурых, выгоревших травах. Возле Табхи единственное живое место этой пустыни: в озеро впадает источник, дающий о себе знать несколькими эвкалиптами и посевами в долинке меж холмами. Под эвкалиптами черный мальчик пасет десяток черных вислоухих коз с колокольчиками на шее. Это стадо братии. А приют ее – на холме, рядом: нечто вроде маленькой крепости, два-три здания из дикого камня за высокими стенами. Настоятель здесь старик-немец, чистота и порядок у него немецкие. Встретил он нас, сожженных зноем, сдержанно, но приветливо, комнаты дал в нижнем этаже, самые прохладные, выходящие на боль-

²³ Мф. 4:18.

²⁴ Мф. 4:22.

шую каменную террасу, в садик по скату холма, усыпанный гравием, испещренный легкой тенью светлой, сквозной зелени перечных деревьев, нежнейших мимоз и нежнейших хвойных пород – серебристо-голубых, легких, как пух. Среди них поднимались две-три пальмы, чернели молоденькие кипарисы, цвели розы, ворковали дикие горлинки, наслаждаясь солнечным затишьем... И, оставшись один на террасе, я взял с каменного стола лежавшее на нем Евангелие, развернутое как раз на тех страницах, что говорят о море Галилейском. Теперь оно было предо мною. Воздушно-зеленое, во всей тропической мягкости своей, оно тонуло, млело в серебристом полуденном свете, теряясь на юге.

Как сладок, как ласков здесь изредка набегающий, теплый от дыхания затуманенных зноем гор, сильный южный ветер! Как широко, все сгущаясь и темнея, бежит перед ним лиловая зыбь по зеркалам у берегов, где светит золото предгорий! Как долго, как дремотно кланяются после него кипарисы и шелестят вайи пальм, напоминая о Египте, сохранившем его драгоценную жизнь в младенчестве!

1911 г.

Рассказы разных лет

На чужой стороне

На вокзале не было обычной суматохи: наступила святая ночь. Когда прошел курьерский девятичасовой поезд, все поспешили закончить только самые неотложные дела, чтобы поскорее разойтись по квартирам, вымыться, надеть все чистое и в семье, с облегченным сердцем, дожидаться праздника, отдохнуть хоть ненадолго от беспорядочной жизни.

Полутемная зала третьего класса, всегда переполненная людьми, гулом настойчивого говора, тяжелым теплым воздухом, теперь была пуста и прибрана. В отворенные окна и двери веяло свежестью южной ночи. В углу восковые свечи слабо озаряли аналой и золотые иконы, и среди них грустно глядел темный лик Спасителя. Лампада красного стекла тихо покачивалась перед ним, по золотому окладу двигались полосы сумрака и света...

Проезжим мужикам из голодающей губернии некуда было пойти подготовиться к празднику. Они сидели в темноте, на конце длинной платформы.

Они чувствовали себя где-то страшно далеко от родных мест, среди чужих людей, под чужим небом. Первый раз в жизни им пришлось двинуться на «низы», на дальние заработки. Они всего боялись и даже перед носильщиками неловко и торопливо сдергивали свои расстрепанные шапки. Уже второй день томились они скукой, ожидая, пока к ним выйдет тщедушная и горделивая фигурка помощника начальника станции (они уже успели прозвать его «кочетком») и строго объявит, когда и какой товарный поезд потянет их на Харцызскую. Со скуки они весь день проспали.

Надвигались тучи. Изредка обдавал теплый благовонный ветер, запах распускающихся тополей. Не смолкая ни на минуту, неся с ближнего болота злорадный хохот лягушек и, как всякий непрерывный звук, не нарушал тишины. Направо едва-едва светил закат; тускло поблескивая, убегали туда рельсы. Налево уже стояла синяя темнота. Огонек диска висел в воздухе одинокой зеленовато-бледной звездочкой. Оттуда, с неизвестных степных мест, шла ночь...

– Ох, должно, не скоро еще! – шепотом сказал один, полулежавший около вокзальных ведер, и протяжно зевнул.

– Служба-то? – отозвался другой. – Должно, не скоро. Теперь не более семи.

– А то и всех восемь наберется, – добавил третий. Всем было тяжело. Только один не хотел сознаться в этом.

– Ай соскучился? А-а-а... – зевнул он, передразнивая первого говорившего. – Гляди, ребята, заревет еще, пожалуй!

– Будя, Кирюх, буравить-то, – серьезно ответил первый и деловым тоном обратился к соседу: – Парменыч, поди глянь на часы, ты письменный.

Парменыч отозвался добрым слабым голосом:

– Не уразумею, малый, по тутошним, все сбиваюсь: целых три стрелки.

– Да ай не все равно? – опять заметил Кирилл насмешливо. – Хушь смотри, хушь не смотри – одна честь...

Долго молчали. Тучи надвинулись, густая темнота теплой ночи мягко обнимала все. Старик открыл трубку, помял пальцем красневший в ней огонек и на время так жарко раскурил ее, что смутно осветил свои седые солдатские усы и ворот зипуна. На мгновение выступили из мрака и белая рубаха лежащего на животе Кирилла, и заскоруждые, изорванные полушубки двух других пожилых мужиков. Потом он закрыл трубку, попыхтел и покоился влево, на своего племянника. Тот дремал. Длинные худые ноги его, завернутые в белые

суконные портянки, лежали без движения; по очертаниям худощавого тела было видно, что это совсем еще мальчик, истомленный и до времени вытянувшийся на работе.

– Федор, спишь? – тихо окликнул его старик.

– Н-нет, – ответил тот сиплым голосом.

Старик ласково наклонился к нему и, улыбаясь, шепотом спросил:

– Ай соскучился?

Ответ последовал не сразу:

– Чего ж мне скучать?

– Да ну! Ты скажи, не бойся.

– Я и так не боюсь.

– То-то, мол, не таись...

Федька молчал. Старик поглядел на его худенькие плечи... потом тихонько отвернулся.

Уже и на закате стемнело. Контуров вокзальных крыш едва рисовались на фоне ночного неба. Там, где оно сливалось с темнотою земли, перекрещивались и мигали зеленые, синие и красные огоньки. Осторожно лязгая колесами, прокатился мимо платформы паровоз, осветил ее красным отблеском растопленной печки, около которой, как в темном уголке ада, копошились какие-то черные люди, и все опять потонуло в темноте. Мужики долго прислушивались, как он где-то в стороне сипел горячим паром.

Потом издалека гнусаво запел рожок. Из темноты и из-за разноцветных огней выделился треугольник огненных глаз. Он разгорался и приближался медленно-медленно, а за ним тянулся длинный, бесконечно длинный товарный поезд; подвигаясь все слабее, он остановился и затих. Через минуту что-то завизжало, заскрипело, вагоны дрогнули, подались назад – и замерли. Раздались чьи-то громкие голоса и тоже смолкли. Кто-то невидимый нес фонарь, и светлый круг, колеблясь, двигался по земле, под стеной вагонов.

– Тридцать четыре, – сказал один из мужиков.

– Кого? Вагонов-то? Боле будя.

– А может, и боле...

Федька облокотился на руку и долго глядел на темную массу паровоза, смутно освещенную посередине, слушал, как что-то клокотало и замирало в нем, как потом он отделился от поезда и, облегченно и тяжело дохнув несколько раз, ушел в темноту, отрывистыми свистками требуя пути... Ничто, ничто не напоминало тут праздника!

– Я думал, они хушь в праздник-то не ходят, – сказал Федька.

– Ну да, не ходят! Им нельзя не ходить...

И слышались несмелые предположения, что, может быть, с этим-то поездом их и отправят. Тяжело в такую ночь сидеть в темноте товарных вагонов, да уж все одно, лучше бы отправили! Старик заговорил о Харцызской. Но впереди была полная неизвестность: и где эта Харцызская, и когда они приедут туда, и какая будет работа, да и будет ли еще? Вот если бы земляков встретить, которые направили бы на хорошее место! А то, пожалуй, опять придется сидеть где-нибудь в томительном ожидании, запивать сухой хлеб теплой водой из вокзальной кадки. И тоска, тревога снова овладела всеми. Даже Кирилл заворочался, беспокойно зачесался, сел и опустил голову...

– И чего тут остались? – слышался один неуверенный голос. – Хушь бы в город пошли – авось всего версты четыре...

– А ну как сейчас велят садиться? – угрюмо ответил Кирилл. – Его пропустишь, а там и сиди опять десять ден. – Надо пойтить спросить...

– Спросить? У кого?

– Да у начальника...

– И правда, пожалуй...

– Да его теперь небось нету...

- Ну, кто-нибудь за него...
- Служба-то и тут такая же будет, – проговорил Кирилл по-прежнему угрюмо.
- Не такая же, короткая, сказывали, будет... И разговеться тоже нечем...
- А как совсем пойдешь Христа ради?

И все с тоской поглядели на вокзальные постройки, где светились окна, где в каждой семье шли приготовления к празднику.

– Дни-то, дни-то какие! – со вздохом, слабым задушевым голосом сказал старик. – А мы, как татаре какие, и в церкви ни разу не были!

– Ты бы теперь уж на клиросе читал, дедушка...

Но старик не слышал этих мягко и грустно сказанных слов. Он сидел и бормотал в раздумье: «Предходят Сему лица Ангельстии со всяким Началом и Властью... лице закрывающе и вопиюще песнь: аллилуйя...»²⁵

И, помолчав, прибавил увереннее, глядя в одну точку перед собою: «Воскресни, Боже, суди земли, яко Ты наследииши во всех языцех...»²⁶

Все упорно молчали.

Все думали об одном, всех соединяла одна грусть, одни воспоминания. Вот наступает вечер, наступает сдержанная суматоха последних приготовлений к церкви. На дворах запрягают лошадей, ходят мужики в новых сапогах и еще распоясанных рубахах, с мокрыми расчесанными волосами; полунаряженные девки и бабы то и дело перебегают от изб к пунькам²⁷, в избах завязывают в платки куличи и пасхи... Потом деревня остается пустою и тихою... Над темной чертой горизонта, на фоне заката, видны силуэты идущих и едущих на село... На селе, около церкви, поскрипывают в темноте подъезжающие телеги; церковь освещается... В церкви уже идет чтение, уже теснота и легкая толкотня, пахнет восковыми свечами, новыми полушубками и свежими ситцами... А на паперти и на могилах, с другой стороны церкви, темнеют кучки народа, слышатся голоса...

Вдруг где-то далеко ударили в колокол. Мужики зашевелились, разом поднялись и, крестясь, с обнаженными головами, до земли поклонились на восток.

– Федор! Вставай! – взволнованно забормотал старик.

Мальчик вскочил и закрестился быстро и нервно. Засуетились и прочие, торопливо накидывая на плечи котомки.

В окнах вокзала уже трепетали огни восковых свечей. Золотые иконы сливались с золотым их блеском. Зала третьего класса наполнялась служащими, рабочими. Мужики стали на платформе, у дверей, не смея войти в них.

Поспешно прошел молодой священник с причтом и стал облачаться в светлые ризы, шуршащие глазетом; он что-то говорил и зорко вглядывался в полусумрак наполнявшейся народом залы. Зажигаемые свечи осторожно потрескивали, ветерок колебал их огни. А изда-лека, под темным ночным небом, лился густой звон.

«Воскресение твое, Христе Спасе, Ангели поют на небеси...» – торопясь, начал священник звонким тенором.

И как только он сказал это, вся толпа заволновалась, задвигалась, крестясь и кланяясь, и сразу стало светлее в зале, на всех лицах засиял теплый отблеск восковых свечек.

Одни мужики стояли в темноте. Они опустили на колени и торопливо крестились, то надолго припадая лбами к порогу, то жадно и скорбно смотря в глубину освещенной залы, на огни и иконы, подняв свои худые лица с пепельными губами, свои голодные глаза...

²⁵ Пред Ним шествуют сонмы Ангелов, различные чины их... закрывая лица и возглашая песнь: аллилуйя... (црк. – сл.). Из богослужения Великой Субботы.

²⁶ Восстань, Боже, суди землю, ибо Ты наследуешь все народы (црк. – сл.). Пс. 81:8.

²⁷ Пунька – сарай для хранения сена и для других хозяйственных надобностей (местн.).

– Воскресни, Боже, суди земли!
1893 г.

Эпитафия

За крайней избой нашей степной деревушки пропадала во ржи наша прежняя дорога к городу. И у дороги, в хлебах, при начале уходившего к горизонту моря колосьев, стояла белоствольная и развесистая плакучая береза. Глубокие колеи дороги зарастали травой с желтыми и белыми цветами, береза была искривлена степным ветром, а под ее легкой сквозной сенью уже давным-давно возвышался ветхий, серый голубец, – крест с треугольной тесовой кровелькой, под которой хранилась от непогод суздальская икона Божией Матери.

Шелковисто-зеленое, белоствольное дерево в золотых хлебах! Когда-то тот, кто первый пришел на это место, поставил на своей десятине крест с кровелькой, призвал попа и освятил «Покров Пресвятыя Богородицы». И с тех пор старая икона дни и ночи охраняла старую степную дорогу, незримо простирая свое благословение на трудовое крестьянское счастье. В детстве мы чувствовали страх к серому кресту, никогда не решались заглянуть под его кровельку, – одни ласточки смели залетать туда и даже вить там гнезда. Но и благоговение чувствовали мы к нему, потому что слышали, как наши матери шептали в темные осенние ночи:

– Пресвятая Богородица, защити нас покровом Твоим!

Осень приходила к нам светлая и тихая, так мирно и спокойно, что, казалось, конца не будет ясным дням. Она делала дали нежно-голубыми и глубокими, небо чистым и кротким. Тогда можно было различить самый отдаленный курган в степи, на открытой и просторной равнине желтого жнивья. Осень убирала и березу в золотой убор. А береза радовалась и не замечала, как недолговечен этот убор, как листок за листком осыпается он, пока, наконец, не оставалась вся раздетая на его золотистом ковре. Очарованная осенью, она была счастлива и покорна и вся сияла, озаренная из-под низу отсветом сухих листьев. А радужные паутинки тихо летали возле нее в блеске солнца, тихо садились на сухое, колкое жнивье... И народ называл их красиво и нежно – «пряжей Богородицы».

Зато жутки были дни и ночи, когда осень сбрасывала с себя кроткую личину. Беспощадно трепал тогда ветер обнаженные ветви березы! Избы стояли нахохлившись, как куры в непогоду, туман в сумерки низко бежал по голым равнинам, волчьи глаза светились ночью на задворках. Нечистая сила часто скидывается ими, и было бы страшно в такие ночи, если бы за околицей деревни не было старого голубца²⁸. А с начала ноября и до апреля бури неустанно заносили снегами и поля, и деревню, и березу по самый голубец. Бывало, выглянешь из сеней в поле, а жесткая вьюга свистит под голубцом, дымится по острым сугробам и со стоном проносится по равнине, заматывая на бегу следы по ухабистой дороге. Заблудившийся путник с надеждой крестился в такую пору, завидев в дыму метели торчащий из сугробов крест, зная, что здесь бодрствует над дикой снежной пустыней сама Царица Небесная, что охраняет Она свою деревню, свое мертвое до поры, до времени поле.

Поле долго было мертвым, но степные люди были прежде выносливы. И вот наконец крест начинал вырастать из оседающих серых снегов. Обтаивала и горбатая унавоженная дорога, наступали теплые и густые мартовские туманы. От туманов и дождей чернели и дымились в сумрачные дни крыши изб... Потом туманы сразу сменялись солнечными днями. И все снежное поле насыщалось водою, растоплялось и, растопленное, блистало под солнцем, дрожа бесчисленными ручьями. В один-два дня степь принимала новый вид: повесенному темнели равнины, окаймленные бледно-синеватой далью. Выпускали шершавый скот из хлевов; обессиленные за зиму лошади и коровы бродили и лежали на выгоне, а галки садились на их худые спины и дергали клювом шерсть для своих гнезд. Но дружная весна к

²⁸ Голубец – здесь: деревянный крест с двускатной кровелькой.

хорошим кормам, – скот отгуляется по теплым росам! Уже пели жаворонки в ясные полдни, уже мальчишки-пастухи загорали от ветров и солнца, которые просушивали землю. Когда же обмывал ее весенний дождь и пробуждал первый гром, Господь благословлял в тихие звездные ночи расти хлебам и травам, и, успокоенная за свои нивы, кротко глядела из голубца старая икона. Тонко пахло в чистом ночном воздухе зелеными, мирно было в степи, тихо в темной деревне, где уже не вздували огня с Благовещенья, и замирали по вечерней заре песни девушек, прощавшихся со своими обрученными подругами.

А потом все менялось не по дням, а по часам. Зеленел выгон, зеленели ветлы перед избами, зеленела береза. Шли дожди, протекали жаркие июньские дни, зацветали цисты, наступали веселые сенокосы... Помню, как мягко и беззаботно шумел летний ветер в шелковистой листве березы, путая эту листву и склоняя до самых колосьев тонкие, гибкие ветви; помню солнечное утро на Троицу, когда даже бородатые мужики, как истые потомки русичей, улыбались из-под огромных березовых венков; помню грубые, но могучие песни на Духов день, когда мы с закатом уходили в ближний дубовый лесок и там варили кашу, расставляли ее в черепках по холмикам и «молили кукушку» быть милостивой вещуньей; помню «игры солнца» под Петров день, помню величальные песни и шумные свадьбы, помню трогательные молебны перед кроткой Заступницей всех скорбящих, – в поле, под открытым небом...

Жизнь не стоит на месте, – старое уходит, и мы провожаем его часто с великой грустью. Да, но не тем ли и хороша жизнь, что она пребывает в неустанном обновлении? Детство миновало. Потянуло нас заглянуть дальше того, что мы видели за околицей деревни, тем сильнее потянуло, что и деревня становилась все скучней, и береза уже не так густо зеленела весной, и крест у дороги ветшал, и люди истощили поле, которое охранял он. И так как беда не ходит одна, то само небо, казалось, стало гневаться на людей. Знойные и сухие ветры разгоняли тучи, подымая вихри по дороге, солнце нещадно палило хлеба и травы. Подсыхали до срока тощие ржи и овсы. Было больно смотреть на них, потому что нет ничего печальнее и смиреннее тощей ржи. Как беспомощно склоняется она от горячего ветра легкими пустыми колосьями, как сиротливо шелестит! Сухая пашня сквозит между ее стеблями, видны среди них сухие васильки... И дикая серебристая лебеда, предвестница запустения и голода, застывает место тучных хлебов у старой проселочной дороги. Нищие и слепые все чаще стали с жалобными припевами обходить деревню. А деревня безмолвно стояла на припеке – равнодушная, печальная.

Тогда, точно в горести, потемнел от пыльных ветров кроткий лик Богоматери. Проходили годы, – Она казалась безучастной к судьбе своего поля. И люди мало-помалу стали уходить по дороге к городу, уходить в далекую Сибирь. Они продавали свой скудный скарб, забивали досками окна изб, запрягали лошадей и навсегда уходили из деревни на поиски нового счастья. И деревня опустела.

– Ни души! – сказал ветер, облетев всю деревню и закрутив в бесцельном удалестве пыль на дороге.

Но береза не ответила ему, как отвечала прежде. Она слабо зашевелила ветвями и опять задремала. Она уже знала, что выгон в деревне зарос высокой сорной травой, что глухая крапива поднялась у порогов, что полынь серебрится на полураскрытых крышах. Степь вокруг была мертва, а десяток уцелевших изб можно было издалека принять за кибитки кочевников, покинутые в поле после битвы или чумы. И голубец уже покосился под березой, на верхушке которой торчали сухие белые сучья. Теперь, в сумерки, когда за темными полями слабо алел закат, ночевали на ней только грачи да вороны, которые немало видели перемен на этом свете...

Вот новые люди стали появляться на степи. Все чаще приходят они по дороге из города и располагаются станом у деревни. Ночью они жгут костры, разгоняя темноту, и тени далеко

убегают от них по дорогам. С рассветом они выходят в поле и длинными буравами сверлят землю. Вся окрестность чернеет кучами, точно могильными холмами. Люди без сожаления топчут редкую рожь, еще вырастающую кое-где без сева, без сожаления закидывают ее землю, потому что ищут они источников нового счастья, – ищут их уже в недрах земли, где таятся талисманы будущего...

Руда! Может быть, скоро задымят здесь трубы заводов, лягут крепкие железные пути на месте старой дороги и поднимется город на месте дикой деревушки. И то, что освящало здесь старую жизнь – серый, упавший на землю крест будет забыт всеми... Чем-то освятят новые люди свою новую жизнь? Чье благословение призовут они на свой бодрый и шумный труд?

1900 г.

У истока дней

I

В тумане моего прошлого есть один далекий день, который я вспоминаю особенно часто.

Я вижу большую комнату в бревенчатом доме на хуторе средней России.

Одно окно этой комнаты – на юг, на солнце, два других – на запад, в вишневый сад.

В простенке стоит старинный туалет красного дерева, а на полу возле него сидит ребенок трех или четырех лет.

Он один в комнате и чувствует себя необыкновенно счастливым.

На дворе сухо, – погожий конец степного августа, и солнечный свет косо падает из окна, выходящего на юг, почти до того места, где сидит на полу ребенок.

А он открыл дверцу в тумбе туалета, обоняет кисленький запах старинных духов и тщательно укладывает на полированную полочку синие гербовые бумаги.

Нужды нет, что эти бумаги покрыты строками крупных непонятных завитушек и что не приказано ни рвать, ни пачкать их: радостно уже одно и то, что обладаешь ими, что их много и что можно раскладывать их в тумбе, которая отныне будет твоею.

Так было и сказано:

– Вот эта тумбочка с нынешнего дня – твоя.

А для того, чтобы было что укладывать, подарили большую кипу синих бумаг с красивыми двуглавыми птицами. Накопится много и других вещей, вроде коробочек и граненых пузырьков, стоящих на туалете. И все это будет спрятано сюда же.

Но на свете, как известно, все кончается: бумаги уже несколько раз укладывались на полочке и так и этак, порядок, в котором они должны быть, строго обдуман, – остается затворить тумбу, поглядеть на нее с приятным чувством собственности – и заняться чем-нибудь другим.

Чем же?

Ребенок стоит возле туалета и осматривается.

Увы, в простой деревенской комнате с голыми бревенчатыми стенами совсем почти пусто: только стулья, да большая кровать, да августовское солнце, косо озаряющее некрашеный пол.

Приятно подойти к окну, почувствовать тепло солнечного света и, прижавшись лицом к стеклу, расплющить нос... Очень заманчива и паутина – легкая восьмигранная сетка в верхнем углу окна... Но, во-первых, до нее не дотянешься, если даже приставить к окну стул, а во-вторых, из щели в углу может выбежать на высоких тонких ножках большой серый паук.

И ребенок, подняв глаза, чувствует сладкий страх при мысли о таинственном хозяине этой паутины, имя которого он произносит с запинкой, по-крестьянски – паук – и который так сердито выскакивает из своей щели, когда в его сеть попадает муха.

Сладко следить тогда за ее гибелью!

Жалобно и долго, долго ноет она в тишине пустой комнаты, точно зовет на помощь... Но помощи нет, и время течет среди ее однотонного плача в полной неизвестности, что будет дальше... И вдруг он, этот темно-серый страшный паук, выскакивает из щели и быстро бежит по паутине... схватывает муху в лапы, замирает с нею на месте и наконец уже, слабую, затихающую, тянет ее в свое жилище...

Что это за жилище? Что делает в нем его хозяин, чем занят он?

Нечаянно взгляд ребенка падает в эту минуту на зеркало.

II

Я хорошо помню, как поразило оно меня.

С него начинаются смутные, не связанные друг с другом воспоминания моего младенчества. Точно в сновидениях живу я в них. И вот оно, первое сновидение у истока дней моих.

Ранее нет ничего: пустота, несуществование.

Ни мое сердце, ни мой разум никогда не могли и до сих пор не могут примириться с этой пустотой. Но, покоряясь неизбежности, я принимаю за начало моего бытия этот августовский день, эти синие гербовые бумаги с орлами, тихую невыразимую радость, которую они дали мне, – и зеркало.

Между колонками туалета, в тяжелой прихотливой раме, висело что-то светлое, блестящее, красивое – и непонятное. Я видал его и ранее. Видел и отражения в нем. Но изумило оно меня только теперь, когда мои восприятия вдруг озарились первым ярким проблеском сознания, когда я разделился на воспринимающего и сознающего. И все окружавшее меня внезапно изменилось, ожило – приобрело свой собственный лик, полный непонятного.

Я заглянул в то светлое, блестящее, что слегка наклонно висело между колонок туалета, увидел там другую комнату, совершенно такую же, как та, в которой я был, но только более заманчивую, более красивую, увидел самого себя – и в первый раз в жизни был изумлен и очарован.

Я восторженно оглянулся... Да, несомненно, в зеркале было все, что было и здесь, вокруг меня – и стены, и стулья, и пол, и солнечный свет, и ребенок, стоявший среди комнаты... Нас было двое, удивленно смотревших друг на друга! И вот один из нас вдруг закрыл глаза – и все исчезло: остались только светлые пятна, закружившиеся в темноте... Потом снова открыл их – и снова увидел все то, что уже видел... Не странно ли только, что комната в зеркале падает, валится на меня?

Робко приблизился я к зеркалу и, дотянувшись рукой до нижней части рамы, толкнул ее.

Зеркало блеснуло, стукнулось о стену, а покатый пол, отраженный в нем, стал еще более покатым. Теперь вся комната падала на меня, падал и мальчик, стоявший против меня, и кровать, и стулья... Очарованный, восхищенный, долго глядел я на то чудесное и новое, что так внезапно открылось мне, – и потянул раму к себе. Зеркало блеснуло, завалилось назад – и все исчезло... И как раз в эту минуту кто-то хлопнул дверью, и я вздрогнул и громко крикнул от страха.

III

Что было дальше?

Много раз пытался я вспомнить еще хоть что-нибудь; но это никогда не удавалось.

Вспоминая, я быстро переходил к выдумке, к творчеству, ибо и воспоминания-то мои об этом дне не более реальны, чем творчество.

Твердо помню только одно: зеркало поразило меня именно в этот день. Я должен был разгадать его во что бы то ни стало.

Но как?

О, много было лукавств и ухищрений!

Они, эти ухищрения, кончались всегда неудачей. И пережив неудачу, я, конечно, забывал о зеркале. Но вот я опять оставался наедине с ним – и опять испытывал его власть над собою.

Я любил угловую комнату, когда она была пуста. Я входил, затворял за собой двери – и тотчас же вступал в какую-то особую, чародейственную жизнь.

Так тихо, так тихо, что слышна каждая нота в тонком и печальном плаче замирающей в паутине мухи!

И я затаивал дыхание, и казалось, что и комната ждет чего-то вместе со мною.

Мальчик, стоящий предо мною в отраженной комнате, был теперь выше ростом, решительнее, смелее, чем тот, что стоял в ней в светлый августовский день несколько лет тому назад. Но отраженная комната была все так же притягательна, заманчива... стократ заманчивее той, в которой был я! И сладко было снова и снова тешить себя несбыточной мечтою побывать, пожить в этой отраженной комнате!

Только существует ли она и тогда, когда не смотришь на нее?

Чтобы узнать все это, нужно прежде всего обмануть кого-то.

И вот я делал равнодушное лицо, отходил от зеркала, заглядывал с притворной беспечностью в окна – и вдруг быстро оборачивался к туалету...

Нет, все по-прежнему!

Но тогда не сесть ли в кресло против зеркала? Закрывать глаза и притворяться спящим... А затем сразу открыть их...

Увы, снова хитрость моя рассыпается прахом!

Оставалось еще одно: приоткрыть ресницы – так мало, так мало, чтобы никто и не подумал, что они приоткрыты...

Но как это трудно!

Ресницы дрожат, глазам больно, и выходит все одно и то же: или совсем ничего не видно, или хоть слабо, но видно все!

И много раз, делая отчаянные усилия, сдвигал я с места тяжелые колонки, среди которых висело зеркало, и заглядывал между ними и стеною. Но и там, именно там, где должна была заключаться разгадка тайны, не оказывалось ничего, кроме бревен с одной стороны и шершавых дощечек, которыми было забито зеркало, с другой!

– Значит, кроется что-нибудь за ними, за этими дощечками?

Говорят, что за этими дощечками только стекло, намазанное ртутью. Да, но что такое ртуть? Ртуть тоже нечто чудесное. Положил кто-то этой ртути в пекущиеся хлебы – и вдруг хлебы запрыгали по печке! А главное: почему поспешили закутать это что-то, намазанное ртутью и называемое зеркалом, в черный коленкор²⁹, как только умерла Надя?

В эту страшную ночь, когда в доме свершилось что-то невыразимое, наполнившее весь дом сперва таинственной суматохой, испуганными голосами, а потом страстными криками матери, – зеркало завесили черным коленкором.

Я, спавший в угловой комнате на широкой постели, в диком ужасе вскочил на колени, когда тишину ночи прорезали эти крики. А затем в комнату быстро вошла заплаканная нянька и накинула на зеркало кусок черной материи.

И, как внезапный ветер по затрепетавшим листьям дерева, по всему моему телу прошла одна мысль, одно сознание: в доме смерть! То ужасное, чье имя – тайна!

IV

Ночи предшествовали тяжелые, печальные дни.

Стоял февраль, наполнявший комнаты скудным полусветом.

²⁹ *Коленкор* – хлопчатобумажная проклеенная ткань.

А девочка была больна уже давно, и казалось, что конца не будет этим дням, этому скудному полусвету и тишине, воцарившейся с тех пор, как в детской, пропитанной сладковатым запахом лекарств, затворили двери и завесили окна темными шторами.

В глуши, на хуторе, заброшенные, забытые, жили мы тогда: мать, Надя, нянька Дарья, большая властная старуха, я и мой воспитатель, – если только можно было назвать так этого странного человека, похожего на Данте, – человека без роду, племени, уже много лет скитавшегося по мелким помещикам, обучавшего их детей и нигде не уживавшегося.

Я медленно, с трудом читал, а он, этот Данте, в стареньком узеньком кургузом сюртучке и коротких панталонах, из-под которых торчали грубые рыжие сапоги, ходил по комнате из угла в угол и думал, думал, бормоча свои думы себе под нос и порою с злорадным наслаждением похохатывая.

А смерть уже незримо реяла среди нас, и печальную тишину дома нарушали только шаги моего воспитателя и мое однотоное чтение. И читал я как раз о ней: читал песнь о старом нормандском бароне, умиравшем в отдаленном покое замка в бурную и темную ночь Рождества Христова. И когда она появилась наконец – столь грозная, что даже собаки на дворе завыли, услышав вопли в доме, – тотчас же было наброшено черное покрывало и на то, что каким-то образом было причастно ее тайне!

V

Я уснул, чувствуя томительную тоску. За окнами чернела ночь, комната была слабо озарена стоявшей на полу возле кровати свечой.

Обычно со мной спала мать. Но с тех пор, как заболела девочка, на ночь стала приходить ко мне нянька. А в эту ночь даже и няньки не было. Она только изредка входила, вынимала что-то из ящиков туалета, шепотом говорила мне: «Спи, спи, я сейчас приду», – и снова уходила. И я пытался уснуть.

Но тоска, предчувствие чего-то, что вот-вот должно совершиться, будили меня, едва только я начинал забываться. Задремлю – и вдруг вскочу с бьющимся сердцем и страстным желанием закричать о помощи.

Но даже крикнуть я не смел – так тихо было в доме и так странно блестело зеркало, наклонно висевшее между колонок туалета и отражавшее покатым пол и дрожащий длинный огонь свечи, стоявшей возле кровати. И вот...

Поднялась какая-то возня, послышались испуганные, торопливые голоса, стук дверей, а вслед за ними сдавленный, ужасный крик... Пораженный им до глубины сердца, я вскочил, сел на колени и замер, уже готовый ответить на этот крик криком еще более ужасным, как растворилась дверь, и по комнате, сотрясая пол своею тяжестью, пробежали нянька с черным куском коленкора в руках...

Потом меня, дрожащего от ужаса и изумления, зачем-то одели, и воспитатель мой повел меня в ту, слабо освещенную синей лампадкой комнату, где на ломберном столе, покрытом простынею, лежала кукла в розовом платье...

Помню, как мы остановились на пороге этой комнаты и, перекрестившись, поклонились в угол, лампадке и этой кукле...

Помню даже, что набожное смирение, с которым медленно перекрестился и поклонился мой воспитатель, показалось мне неестественным...

Мне показалось, что он пьян: это с ним случалось нередко... И от этого мне сделалось еще страшнее.

А он, с истовостью пьяного человека, желающего показать, что он несколько не пьян, а, напротив, сознательно, серьезно и спокойно делает все то, что полагается в таких случаях, подвел меня к столу, приподнял за плечи – и я увидел бледное, безжизненное личико и

тусклый блеск мертвых, слизистых глаз под неплотно смежившимися черными ресницами, четко выделявшимися среди бледности... В этом было что-то безобразное!

Безобразно-ужасен был и сон, которым я забылся после того.

Я до сих пор чувствую всю нескладную, горячечную суматоху всех этих людей, наполнивших дом и начавших торопливо переносить и передвигать из комнаты в комнату столы, стулья, кровати и зеркала, как только я закрыл глаза.

Девочка мгновенно ожила, хотя и осталась все такой же загадочной и безмолвной, какой она была на столе, и поспешила вмешаться в суматоху, бегая из комнаты в комнату под ногами мужиков, торопливо носивших на руках стулья и зеркала, покрытые черным коленкором.

Как это она могла ожить и остаться в то же время мертвой?

Как это она могла бегать и не упасть, когда лицо ее было столь же слепо и безжизненно, как тусклая полоска ее глаз, блестящая в прорезе неплотно прикрытых ресниц?

Наконец настало утро.

VI

Ах, как хорошо сделал Господь Бог, создавши свет! Сколько раз в жизни говорил я эти слова, открывая глаза после тяжелых ночных сновидений! Как этот свет успокаивает, как укрошает и душу нашу, и все окружающее нас!

Белый, спокойный и простой день был в мире, когда я проснулся.

Но, проснувшись, я тотчас взглянул на зеркало... О, каким печальным показалось оно мне!

Да и не одно оно. Все в доме было печально: и заплаканная, похудевшая, с блестящими глазами, мать, и серьезный воспитатель, и притихшая, уже далеко не столь властная, как прежде, старуха-нянька, и разговоры вполголоса, и эта кукольная девочка с восковым личиком, лиловатым виском, неживыми локонами и полуприкрытыми ресницами, из-под которых еще тусклее, чем вчера, блестела полоска стеклянных глаз...

А потом, в солнечный морозный день с метелью, приехали на трех розвальнях попы, нанесли в дом холоду, запаха снега и ладана и стали с грустными причитаниями и пением ходить вокруг лежащей на столе куклы, кланяться ей и дымить на нее из кадила...

И с какой изысканной деликатностью, с какой кокетливой печалью заливался в этот день высокий горловой тенор всегда смелого и даже наглого о. Федора!

Как он легко, точно в кадрили, то приближался к столу, то пятился назад и своей ловкой рукой – даже не рукой, а только одной кистью – высоко взвивал пылающее кадило и потоплял в синих клубках церковного благоухания неподвижно лежащую куклу!

И как чувствовал я в этот день всю сладость страстных рыданий матери, когда заливающийся тенор грустно утешал ее неизреченной красотой небесных обителей. И какой болью сжалось мое сердце в тот момент, когда гробик, наскоро сбитый из пахучего соснового теса, навсегда закрыли крышкой и понесли, среди пения, в розвальни, возле которых, в солнечной морозной метели, ветер развеивал волосы на обнаженных головах мужиков!

VII

Надолго застыл после того в тишине и грусти наш бревенчатый флигель.

Весеннее солнце по целым дням наполняло радостным блеском детскую, – теперь нашу классную, – но померкли все мои радости!

Что это случилось с милой веселой девочкой, которая так звонко выкрикивала когда-то свое имя, а теперь лежит в селе на погосте, в могиле?

Откуда пришла она? Зачем росла, прыгала, радовалась вплоть до того рокового вечера, в который точно какой-то злой дух дохнул на нее своим пламенным дыханием?

С разгоревшимся личиком, с сияющими глазками, она была особенно оживлена в тот вечер – и вдруг поникла на плечо матери.

– Мама, бай!

И тотчас же ее унесли в детскую, и это был последний час, в который я видел ее: живой из детской она не вернулась.

Вот идут дни за днями, а ее все нет – и никогда не будет...

Даже и люльку ее снесли в чердак...

Вот вынимают зимние рамы, и наша классная наполняется душистой свежестью и теплом яркого солнца... А ее нет – и никогда не будет!

Говорят, что она на погосте, в Знаменском. Но вся ли? То живое, прекрасное, что было в ней, не там, а где-то далеко... в раю, в небе.

В тихие апрельские сумерки, когда я сидел с нянькой у раскрытого окна, выходящего в темный и свежий сад, я подолгу смотрел на меркнувший нежно-алый закат, по которому громоздились синие тучки, похожие на саркофаги. И когда над ними в зеленоватом небе вспыхивало серебристое зерно первой звезды, нянька говорила мне:

– Вон душенька нашей барышни.

Но и в этих словах... Нет, это было слишком просто! Это было так же просто, так же ничего не объясняло, как и то, что зеркало есть стекло, намазанное ртутью.

VIII

И велико было мое недоумение, когда я убедился в этом!

Не раз отодвигал я зеркало от стены и не раз убеждался, что ничего-то нет за ним, кроме бревен, паутины и шершавых дощечек!

Однако нужно было заглянуть и под эти дощечки!

И однажды, когда в доме все спали, я отодвинул, замирая от страха быть пойманным, зеркало от стены – и кухонным ножом приподнял одну из дощечек...

Да, меня не обманывали!

Под дощечкой ничего не было, кроме стекла, намазанного красно-коричневой краской.

Но, может быть, есть что-нибудь между этой краской и стеклом?

Нет, и там ничего нет: я слегка поцарапал концом ножа в уголке зеркала – и увидел... стекло!

Но не стала ли таинственная ртуть еще более таинственной после того?

Несомненно. Ибо разве не чудесно было и то, что сделал я? Я соскоблил ножом каплю красной краски и увидел, что чудесное стекло стало стеклом самым обыкновенным: прильнувши к тому месту, где я скоблил, можно было сквозь стекло видеть комнату...

Где я был до той поры, в которой блеснул первый луч моего сознания, пробужденного светлым стеклом, висевшим в тяжелой раме между колонок туалета? Где я был до той поры, в которой туманилось мое тихое младенчество?

– Нигде, – отвечаю я себе.

Но, в таком случае, я, значит, не существовал до этой поры?

– Нет, не существовал.

Но тут вмешивается сердце:

– Нет. Я не верю этому, как не верю и никогда не поверю в смерть, в уничтожение. Лучше скажи: не знаю. И незнание твое – тоже тайна.

Моя память так бессильна, что я почти ничего не помню не только о своем младенчестве, но даже о детстве, отрочестве. А ведь существовал же я! И не только существовал, – думал, чувствовал, и так полно, так жадно, как никогда потом. Где же все это?

Это тоже тайна. И всюду она, эта всепроникающая власть тайны, власть, чаще всего злая, враждебная нам.

Чем только не мучила она меня в пору моего младенчества!

Три свечи в комнате – к чьей-нибудь смерти.

Вой собаки ночью – к смерти.

Ворон, пролетевший со свистом крыльев низко над домом, – к смерти.

Разбитое нечаянно зеркало – к смерти.

Черный коленкор, накиннутый на него, – символ смерти.

А что творится ночью на чердаках, в поле, на кладбище! Что отражается по ночам перед бедою в зеркалах!

– Вошла я это, матушка-барыня, ночи за две перед тем, как барышне умереть, глянула на туалет, а в зеркале стоит кто-то белый-белый, как мел, да длинный-предлинный!

– Да небось платье твое отразилось.

– И, Бог знает что! Разве я не помню, в чем была? То-то и дело, что в юбке в одной бумазейной да в темной кофточке!

И я порою думал: уж не права ли ты, моя старая наставница?

На зеркале и до сих пор видна царапина, сделанная моей рукой много лет тому назад, – в ту минуту, когда я пытался хоть глазком заглянуть в неведомое и непонятное, сопутствующее мне от истока дней моих до грядущей могилы.

Я видел себя в этом зеркале ребенком – и вот уже не представляю себе этого ребенка: он исчез навсегда и без возврата.

Я видел себя в зеркале отроком, но теперь не помню и его.

Видел юношей – и только по портретам знаю, кого отражало когда-то зеркало.

Но разве мое – это ясное, живое и слегка надменное лицо? Это лицо моего младшего, давно умершего брата. Я и гляжу на него, как старший: с ласковой улыбкой снисхождения к его молодости. А в зеркале отражается печальное и, увы, уже спокойное лицо!

Настанет день – и навсегда исчезнет из мира и оно.

И от попыток моих разгадать жизнь останется один след: царапина на стекле, намазанном ртутью.

1906 г.

Птицы небесные

С горы, по наглаженной, ухабистой дороге, спускался к реке студент Воронов. Возле моста, положив руки на костыль и глядя на реку, стоял какой-то маленький человечек.

Изумрудные льдины лежали вокруг темно-лиловой проруби. Голоса баб, полоскавших белье, звонко раздавались в морозном воздухе. Солнце скрывалось сзади, за горою, снежная долина вся была в тени, но оконца изб и кресты церкви на противоположной вороновской стороне еще горели лучистым золотом.

Глубокие январские снега, огромные снежные шапки на избах атели. Красновато чернел и сквозил возле церкви сад вороновского поместья, густо и свежо темнели сосны палисадника перед его домом. Дым из труб дома поднимался в чистое зеленое небо ровными фиолетовыми столбами.

Казалось, что стоявший возле моста любит.

Мимо него, со скрипом, раскатывались, неслись розвальни: шибко возвращался обоз порожняком. И он благоразумно отошел к сторонке.

– Держись, срежу! – крикнул один из обозчиков, сани которого раскатились особенно лихо.

Стоявший обернулся, что-то крикнул в ответ... И, махнул рукой, закашлялся.

Студент сбежал к мосту, – он все кашлял. По вытянутой шее и склоненной голове, по тому, как он отставил костыль, опершись на него обеими руками, видно было, что кашель затяжной, мучительный. Но, должно быть, притворный: верно, что был дурачок, бродяга по святым местам, и, верно, он заметил барина.

Студент поравнялся с ним, заглянул ему в лицо, под самодельную шапку с наушниками и назатыльником, мехом внутрь. Тогда он смолк, низко поклонился и, отдуваясь, медленно побрел по мосту, с визгом вонзая в морозный снег железный наконечник костыля. Худые ноги в больших лаптях еле волочились...

Нет, не дурачок. Просто нищий и больной.

Необычна была только аккуратность, с которой лежали мешки за его спиной. Необычен и зипунишка, старый, но тщательно заплатанный. И уже совсем необычно было лицо – лицо подростка лет под сорок: бледное и изможденное, простое и печальное. Черные глазки глядели со странным спокойствием. Печальные губы среди реденьких усов и бороды полуоткрывались. Прядь длинных волос, по-женски ложившаяся на маленькое восковое ухо под наушником, была суха и мертва. Тело – щуплое, тощее, с болезненно приподнятыми плечами.

– Застыл, старик? – крикнул студент с деланной бодростью.

Нищий приостановился и тяжело перевел дыхание, раскрывая рот, поднимая грудь и плечи.

– Нет, – ответил он неожиданно просто и даже как будто весело. – Застыть не застыл...

И опять собрался с духом и прибавил еще бодрее, таким тоном, точно все обстояло вполне благополучно, кроме того, с чем уж ничего не поделаешь:

– Застыть не застыл. А вот здоровье...

Он приподнял грудь:

– А вот здоровье все хужеет! И легонько двинулся вперед.

Студент осмотрел его лапти, онучи³⁰: ноги тонки и слабы, онучи тонки и стары, лапти разбиты, велики... И как это он ухитряется ходить по такому морозу?

– Уж очень у тебя, дядя, обужа-одежа плоха! – сказал студент.

³⁰ Онучи – обмотки для ног под лапти или сапоги.

– Обужа, верно, плоха, – согласился нищий. – А вот одежда... Нет, одежда ничего. У меня под ней кофта ватная.

– Все-таки студишься небось без валенок-то?

– Студишься... Бока колет... Закашляешься – прямо смерть.

Говорить на ходу было трудно. И студент остановился. Остановился и нищий и поспешил положить дрожавшие руки на костыль.

– Дальний?

– Дальний... Из-под Ливен.

– Давно удушье-то?

– Удушье-то? Давно...

– Селитру не жег? Очень помогает.

– Нет. Перец... пил.

Студент покачал головою.

– Глупо, – сказал он. – Я вот на доктора учусь, доктором, значит, буду... Понимаешь?

– Дело хорошее... Как не понимать...

– Ну, так и послушайся меня: перец не пей, а купи селитры. И стоит-то всего две копейки. Разведи, намочи бумагу, высуши и жги. Подышишь – полегчает.

И опять согласился нищий, не придав, видимо, ни малейшего значения селитре:

– Это можно. Деньги не велики.

– А ночевать-то где ноне будешь?

– Ночевать-то? Ночевать везде можно... В Знаменском ночую...

– Как в Знаменском? – сказал студент. – Но ведь ты туда к свету со своей ходьбой придешь!

– Мне спешить некуда, – ответил нищий и так просто, что студент слегка смешался.

Помолчал и спросил:

– Побор в мешках-то?

– Ну, побор! Добришко... Рубахи, портки. Порток у меня много... Трое...

За мостом дорога раздваивалась: одна шла круто в гору, к вороновскому поместью, другая, отлогая, наискось к церкви.

– Слушай, – сказал студент, – пойдем к нам. Я бы тебе деньжонок дал...

Солнце закатывалось. Нищий посмотрел на гору, на черную, густую зелень елок в вороновском палисаднике, на мертвеющие сизые крыши усадьбы, на малахитовые снега выгона... И не спеша ответил:

– Беден только бес, на нем креста нет. А мне они почесть без надобности. А коли хочется, дай.

– Ну вот, и пойдем.

– А пойтить... не пойду. Ночую в Знаменском, ежели... дойду...

И, склонив голову, отдуваясь, полегоньку, нищий упорно побрел по дороге к церкви.

Студент забежал домой, захватил кошелек и догнал его на выезде в поле. Оттуда, с севера, дуло острым ветром, клейко схватывавшим усы и ресницы. Темнела и вся двигалась мутно-фиолетовая снежная равнина, отлого поднимавшаяся к высокому ветряку на горизонте. Свет заката еще брезжил на ее крестом простертых крыльях. А темнеющее поле все курилось и курчавилось, бежало быстрой дымящейся зыбью поземки.

– Ну-ка вот тебе полтинничек, – слегка задохнувшись, сказал студент, когда на скрип его шагов нищий обернулся и остановился. – Да скажи, как поминать тебя, – прибавил он шутливо.

Нищий усмехнулся.

– А мне теперь ничего, полегчало, – ответил он бодро, хотя лицо его посинело и сморщилось, а на глазах от ветра выступили слезы.

Сняв большую варежку, он неловко взял ледяными пальцами монету и задумчиво посмотрел на нее. Студент ждал великой радости, но поблагодарил нищий довольно спокойно:

– Вот за это спасибо... А поминать меня, Бог даст, не придется... Дойду.

– Серьезно, как звать-то тебя и что ты за чудак такой? – спросил студент.

– Звать-то? Звали Лукой... А уж чем чуден я – не знаю.

– Да ведь замерзнешь!

– И замерзнешь, не откажешься. Смерть, брат, она как солнце, глазами на нее не глянешь. А найдет – везде. Да и помирать-то не десять раз, а всего один.

– В рай, значит, спешишь попасть? – сказал студент, трогая ухо и поворачиваясь от ветра.

– Зачем в рай? Это еще дело темное – не то есть он, рай-то, не то нет. А мне и тут не плохо.

Ветер все сильнее дул в спину, в голову, леденил затылок, делал легкими ноги. Студент с удивлением взглянул в лицо нищего:

– Это тебе-то не плохо?

Нищий тоже взглянул ему в глаза.

– А что ж мне? – спросил он. – Беден только бес, на нем креста нет. А я живу себе.

– Живешь, как птицы небесные?

– А что ж птицы небесные? Птицы-звери всякие, они, брат, о раях не думают, замерзнуть не боятся.

– А ты что? Философ? Атеист?

– Не понимаю я этих слов.

– Знаю, что не понимаешь. Я хотел спросить: в Бога-то ты веришь?

Нищий подумал.

– В Бога нет того создания, чтоб не верило, – твердо сказал он.

Студент взглянул на него с еще большим удивлением. Но стоять было так холодно, что он поколебался, поколебался и решительно выговорил:

– Ну с Богом!

– Стало быть, прощайте, – отозвался нищий и тряхнул своей круглой шапкой. – Спаси Христос...

И, подумав, надел варежку и повернулся. Маленький, сгорбленный, с высоким костылем, он скоро стал еще меньше, по пояс утонул в сумерках и волнистой снежной зыби, густо бежавшей на него от мельницы...

Вечером студент долго ходил из угла в угол по залу. Прислуга спала. На столе горела лампа, в углу, перед иконой – лампадка: когда барыни не было дома, нянька всегда зажигала ее, – чтобы Бог дал благополучную дорогу. И теперь студент с тревогой посматривал на часы, – был уже девятый, а матери все не было.

– Дикарь! – говорил он иногда вслух, вспоминая нищего.

Ночью он спал мало. С вечера читал Юнга и часов в десять, в валенках и башлыке, вышел взглянуть на восход Близнецов. И на пороге сеней оторопел: показалось, что свету Божьего не видно, – так гулко шумел сад от морозной бури, так бешено несла поземка. Но сад четко чернел над ее непрерывно несущимися вихрями, и звезды огнем горели на черном чистом небе. Утопая в снегу, нагибая голову от жгучей, захватывающей дух пыли, студент одолел гудящую аллею и глянул в поле: темь, смутно волнующееся белесое море – и над ним, как два страшных, то исчезающих, то появляющихся алмазно-голубых глаза, две яркие, широко расставленные звезды...

Второй раз студент добрался до садового вала в двенадцатом часу. Стало еще морознее и страшнее. Все спит мертвым сном, нигде ни огонька, сад ревет властно и дико. Небо еще

чище, чернее, звезды еще пламеннее. А над белым морем метели – два других, еще шире раскинутых, кровавых глаза: Арктур и Марс. Остро блещут зерна Волопаса, веером рассыпанные на горизонте за мельницей. Близнецы, сдвинувшись, горят почти над головой...

«Замерзнет, черт!» – с сердцем подумал студент про нищего.

И всю ночь тревожно и однообразно стучали в темный дом, заносимый снегом, плохо прикрытые ставни. До костей промерзнув на ветру, студент заснул крепко, но потом стал сквозь сон томиться этим стуком. Он очнулся, зажег свечу, оделся... Ставни уже не стучали. И, выйдя на крыльцо, он услышал отдаленную сонно-певучую переключку петухов и замер от восхищения. Свежо и остро пахло тем особенным воздухом, что бывает после выюги с севера. Тихая, звонкая ночь, вся золотистая от полумесяца, низко стоявшего над горой, за долиной, мешалась с тонким светом зари, чуть алевшей на востоке. Треугольником дрожащего расплавленного золота висела там Венера. Марс и Арктур искрились высоко на западе. И все звезды, мелкие и крупные, так отделялись от бездонного неба, так были ярки и чисты, что золотые и хрустальные нити текли от них чуть не до самых снегов, отражавших их блеск. Горели огни по избам на селе, петухи как бы убаюкивали нежно-усталый, склоняющийся полумесяц. И с звонким скрипом, с визгом въезжала в ворота знакомая тройка вся серо-курчавая от инея, с белыми пушистыми ресницами...

Когда студент подбежал к саням, мать и кучер в один голос крикнули ему, что на Знаменской дороге лежит в снегу мертвое тело.

1909 г.

Ночной разговор

I

Небо было серебристо-звездно, поле за садом и гумном темнело ровно, на чистом горизонте четко чернела мельница с двумя рогами крыльев. Но звезды искрились, трепетали, часто прорезывали небо зеленоватыми полосками, сад шумел порывисто и уже по-осеннему, холодно. От мельницы, с пологой равнины, с опустевшего жнивья дул сильный ветер.

Работники сытно поужинали, – был праздник, Успенье, – и жадно накурились по дороге через сад на гумно. Накинув армяки сверх полушубков, они шли туда спать, стеречь хлебные вороха. За работниками, таща подушку, шел высокий гимназист и бежали три борзых белых собаки. На гумне, на свежем ветру, хорошо пахло мякиной, новой ржаной соломой. Все уютно улеглись в ней, в самом большом омете³¹, поближе к ворохам и риге. Собаки повозились, пошуршали у ног и тоже успокоились.

Над головами лежавших слабо белел широкий, раздваивающийся дымно-прозрачными рукавами Млечный Путь, наполненный висящей в них мелкой звездной россыпью. В соломе было тепло и тихо. Но по лозняку, что темнел вдоль вала слева, то и дело тревожно шел и, разрастаясь, приближался глухим неприятным шумом северо-восточный ветер. Тогда до лиц, до рук доходило прохладное дуновение вместе с дурным запахом из проходов между ометами. А по небосклону, за неправильными черными пятнами волновавшегося лозняка, остро мелькали, вспыхивали льдистые алмазы, разноцветными огнями загоралась Капелла.

Улегшись, позевали и закрыли глаза. Ветер дремотно шелестел торчавшей над головами колючей соломой. Но дошла до лиц прохлада – и все почувствовали, что спать еще не хочется, – выспались после обеда. Только один гимназист изнемогал от сладкой жажды сна. Но ему заснуть не давали блохи. Он стал чесаться, раздумался о девках, о вдове, с которой он, при помощи работника Пашки, потерял в это лето невинность, и тоже разгулялся.

Это был худой, неуклюжий подросток с нежным цветом лица, такого белого, что даже загар не брал его, с синими глазами, с большим кадыком. Он все лето не разлучался с работниками, – возил сперва навоз, потом снопы, оправлял ометы, курил махорку, подражал мужикам в говоре и в грубости с девками, которые дружески поднимали его на смех, встречали криками: «Веретенкин, Веретенкин!» – дурацким прозвищем, придуманным подавальщиком в молотилку Иваном. Он ночевал то на гумне, то в конюшне, по неделям не менял белья и парусиновой одежды, не снимал дегтярных сапог, сбил в кровь ноги с непривычки к портянкам, оборвал все пуговицы на летней шинели, испачканной колесами и навозом...

– Совсем отбился от дому! – с ласковой грустью говорила о нем мать, восхищаясь даже его недостатками. – Конечно, поправится, окрепнет, но посмотрите, какая лохматая чушка, даже шеи не моет! – улыбаясь, говорила она гостям и теребила его мягкие каштановые лохмы, стараясь добраться до нежного завитка, кудрявившегося, как у девочки, на его затылке, на темной шее, отделявшейся от видного под косовороткой по-детски белого тела, от больших позвонков под тонкой гладкой кожей. А он угрюмо вывертывал голову из-под ее ласковой руки, хмурился, краснел. Он рос не по дням, а по часам и на ходу гнулся, задумчиво свистал, угловато вилял из стороны в сторону. Он еще ел липовый цвет и вишневым клеем, носил, хотя уже тайком, в кармане парусиновых панталон рогульку для стрельбы по воробьям, но сгорел бы от стыда, если б это обнаружилось, и не выпускал рук из карманов. Еще зимой он играл с Лилей в краснокожих. Но весной, когда по всем улицам города текли

³¹ Омет – стог соломы.

и дрожали ослепительным блеском ручьи, когда в классах горели от солнца белые подоконники, солнцем был пронизан голубой дым в учительской и директорская кошка подстерегала первых зябликов в гимназическом саду, еще полном серебряного снега, – весной он вообразил, что влюбился в худенькую, маленькую, начитанную и серьезную гимназистку Юшкову, подружился с шестиклассником в очках Симашко и решил посвятить все каникулы самообразованию. А летом мечты о самообразовании были уже забыты, было принято новое решение – изучить народ, вскоре перешедшее в страстное увлечение мужиками.

Вечером на Успенье гимназист был налит сном еще за ужином. К концу каждого дня, когда туманилась и на грудь падала голова, – от усталости, от разговоров с работниками, от роли взрослого, – возвращалось детство: хотелось поиграть с Лилей, помечтать перед сном о каких-нибудь дальних и неведомых странах, о необыкновенных проявлениях страсти и самопожертвования, о жизни Ливингстона, Беккера, а не мужиков Наумова и Нефедова, прочитать которых дано было Симашке честное слово; хотелось хоть одну ночь переночевать дома и не вскакивать до солнца, на холодной утренней заре, когда даже собаки так томно зевают и тянутся... Но вошла горничная, сказала, что работники уже пошли на гумно. Не слушая криков матери, гимназист накинул на плечи шинель с мотающимся хлястиком и картуз на голову, схватил из рук горничной подушку и в аллее нагнал работников. Он шел, шатаясь от дремоты, таща за угол подушку, и, как только довалился до омета, подлез под старую енотовую шубу, лежавшую там, так сейчас же и поплыл, понесся в сладкую черную тьму. Но огнем стали жечь мелкие собачьи блохи, стали переговариваться работники...

Их было пятеро: добрый лохматый старик Хомут, Кирюшка, хромой, белоглазый, безответный малый, предававшийся мальчишескому пороку, о чем все знали и что заставляло Кирюшку быть еще безответнее, молча сносить всяческие насмешки над его короткой, согнутой в колене ногой, Пашка, красивый двадцатичетырехлетний мужик, недавно женившийся, Федот, мужик пожилой, дальний, откуда-то из-под Лебедяни, прозванный Постным, и очень глупый, но считавший себя изумительно умным, хитрым и беспощадно-насмешливым человеком, Иван. Этот презирал всякую работу, кроме работ на сельскохозяйственных машинах, носил синюю блузу и всем внушал, что он прирожденный машинист, хотя все знали, что он ни бельмеса не смыслит в устройстве даже простой веялки. Этот все суживал свои сумрачно-иронические глазки и стягивал тонкие губы, не выпуская трубки из зубов, значительно молчал, когда же говорил, то только затем, чтобы убить кого-нибудь или что-нибудь замечанием или прозвищем: он решительно надо всем глумился – над умом и глупостью, над простотой и лукавством, над унынием и смехом, над Богом и собственной матерью, над господами и над мужиками; он давал прозвища нелепые и непонятные, но произносил их с таким загадочным видом, что всем казалось, будто есть в них и смысл и едкая меткость. Он и себя не щадил, и себя прозвал: «Рогожкин», – сказал он однажды про себя, так веско, так зло на что-то намекая, что все покатались со смеху, а потом уже и не звали его иначе, как Рогожкин. Окрестил он и гимназиста, сказал чепуху и про него: Веретенкин.

Всех этих людей гимназист, как он думал, хорошо узнал за лето, ко всем по-разному привязался, – даже и к Ивану, издевавшемуся над ним, – у всех тому или другому учился, воспринимая их говор, совершенно, как оказалось, не похожий на говор мужиков книжных, их неожиданные, нелепые, но твердые умозаключения, однообразие их готовой мудрости, их грубость и добродушие, их работоспособность и нелюбовь к работе. И, уехавши после каникул в город и на другое лето уже не вернувшись к увлечению мужичьей жизнью, он весь свой век думал бы, что отлично изучил русский народ, – если бы случайно не завязался между работниками в эту ночь длинный откровенный разговор.

Начал старик, лежавший рядом с гимназистом и чесавшийся крепче всех.

– Ай, барчук, донимают? – спросил он. – Чистая беда эти блохи, хомут! – сказал он, употребляя слово, которым постоянно определял и всю жизнь свою, и всю тяготу ее, все неприятности.

– Мочи нет, – отозвался гимназист. – Вот баб, девок, тех не трогают. А уж кого бы, кажись, жилища, как не их.

– Главная вещь, порток на них не полагается, – равнодушно подтвердил старик, ворочаясь и издавая крепкий запах давно не мытого тела и вытертого зипуна, прокопченного курной избой.

Прочие молчали. Обычно шутили перед сном, расспрашивали Пашку о его супружеской жизни, а он отвечал с таким спокойным и веселым бесстыдством, что даже гимназист, постоянно восхищавшийся им, не сводивший глаз с его умного и живого лица, досадовал – как это можно говорить так о своей молодой жене. Теперь никто не начинал расспросов, и гимназист уже хотел было сам начать их, чтобы еще более взволновать свое воображение, навеки отравленное вдовой, и послушать уверенный голос Пашки, как Пашка потянулся, сел и стал завертывать сигарку. Старик поднял голову в шапке и покачал ею.

– Ой, спалишь ты, малый, гумно! – сказал он.

– А я на барчука солгусь, – отвечал Пашка, немного хрипя от простуды, и, откашлявшись, засмеялся. – Он сам постоянно курит. Чудная ночь, барчук, сегодня, – сказал он, меняя тон на серьезный и оборачиваясь к гимназисту. – К этой ночи что недостает? Луну.

Чувствовалось, что он хочет рассказать что-то. И, правда, помолчав и не получив ответа, он вдруг спросил:

– Барчук, вы спите? Который теперь час будет?

Гимназист поднялся, вытащил из кармана панталон серебряные часы и при свете звезд стал разглядывать их.

– Половина одиннадцатого, – сказал он, горбясь.

– Ну вот, так я и знал, – весело и уверенно подтвердил Пашка, затиснув набок зубами крючок и закуривая от вонючего серника, загоревшегося в его сложенных ковшиком руках. – В аккурат в это самое время я человека прошлый год убил.

И гимназист сразу разогнулся, опустил руки – и точно окаменел на все время разговора. Он изредка подавал голос, но так, точно другой кто говорил за него. Потом все внутри у него стало дрожать мелкой ледяной дрожью, позывая на отрывистый, нелепый смех, и огнем стало гореть лицо.

II

Иван, как всегда, значительно молчал. Кирюшка совсем не интересовался тем, что говорили, лежал и думал свое – о гармонии, купить которую было его самой заветной мечтой. Долго молчал, лежа на локте, и Федот, сильный, плоский мужик, в начале лета казавшийся работникам чужим человеком по той причине, что носил он полушубок без талии, без сборок, вроде тех, что носят казанские татары. Чужим казался он и гимназисту. Насколько нравилось ему веселое спокойствие, ладность ухваток, загорелое лицо Пашки, настолько же не располагало его к близости лица Федота, тоже спокойное, но ничего не выражающее, большое, пепельно-серое, морщинистое, с жидкими и всегда мокрыми от слюней, от трубки усами, с крупными отворотами белесых обветренных губ. Федот слушал внимательно, но не вставлял в рассказ Пашки ни слова, – только чахоточно покашливал и поплевывал в солому. И сперва поддерживали разговор только пораженный гимназист да старик.

– Что брешешь пустое, – равнодушно сказал старик, услышав хвастливое заявление Пашки. – Какого такого человека мог ты убить? Где?

– Глаза лопни, не брешу! – горячо отозвался Пашка, поворачиваясь к старику. – Прошлый год убил, на Успенье. Об этом даже во всех газетах писали, в приказе по полку и то было.

– Да где убил-то?

– Да на Кавказе, в Зухденах. Ей-богу! Конечно, брехать не стану, не я один убил, и Козлов стрелял, – наш же, елецкий, – эта благодарность не одному мне была, дивизии начальник, конечно, и ему спасибо сказал при всем фронте и прямо же нам по рублю наградил, но только я подлинно знаю, что это я его срезал.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.